

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ПАСТУХ  
и ПАСТУШКА

*Современная пастораль*



**ПЕРМЬ**  
**1973**



В И К Т О Р   А С Т А Ф Ь Е В

**ПАСТУХ  
И  
ПАСТУШКА**

СОВРЕМЕННАЯ  
ПАСТОРАЛЬ



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1973

Текст печатается по изданию:  
«В. П. Астафьев. Повести о моем современнике.  
М., Издательство «Молодая гвардия», 1972».

Художник В. Кадочников

**И** брела она по дикому полю, непаханому, нехоже-  
ному, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались се-  
мена трав, и колючки цеплялись за пальто старомодно-  
го покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, как по наледи, поднялась  
на железнодорожную линию, зачистила по шпалам, и  
шаг ее был суетливый, сбивающийся.

Насколько охватывал взгляд — немая степь кругом,  
предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки  
накрапом пятнали ее, да у самого неба тенью просту-  
пал хребет Урала. Людей не было. Птиц не слышно.  
Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины.

В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед  
нею, качалось, как в море, и где начиналось небо, где  
кончалось море — она не различала. Хвостатыми водо-  
рослями шевелились рельсы. Волнами накатывали  
шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто под-  
нималась она по бесконечной шаткой лестнице.

У километрового столба она вытерла глаза рукой.  
Полосатый столбик с крупной цифрой порябил-порябил  
и утвердился перед нею. Она спустилась с линии и на  
сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древ-  
нюю пору кочевниками, отыскала могилу с пирамид-  
кой. Была когда-то на пирамидке звездочка, но, видно,  
отопрела.

Могилу затянуло польню и травю провололочником.  
Татарник взнимался рядом с пирамидкой, но выше ее  
не решался подняться. Несмело цеплялся он заусени-

цами за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто.

Она опустила на колени перед могилой.

— Как долго я искала тебя!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребивал пух из шишечек татарника. Сыпучие семена чернобыла и замерзшая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимняя степь, и угрюмо нависал над нею древний хребет, устало и глубоко вдавшийся грудью в равнину, да бельма солончаков отблескивали все так же холодно и немо.

Но это там, дальше, у неба. А здесь лишь скорбно шелестели немощные травы и похрустывал костлявый татарник.

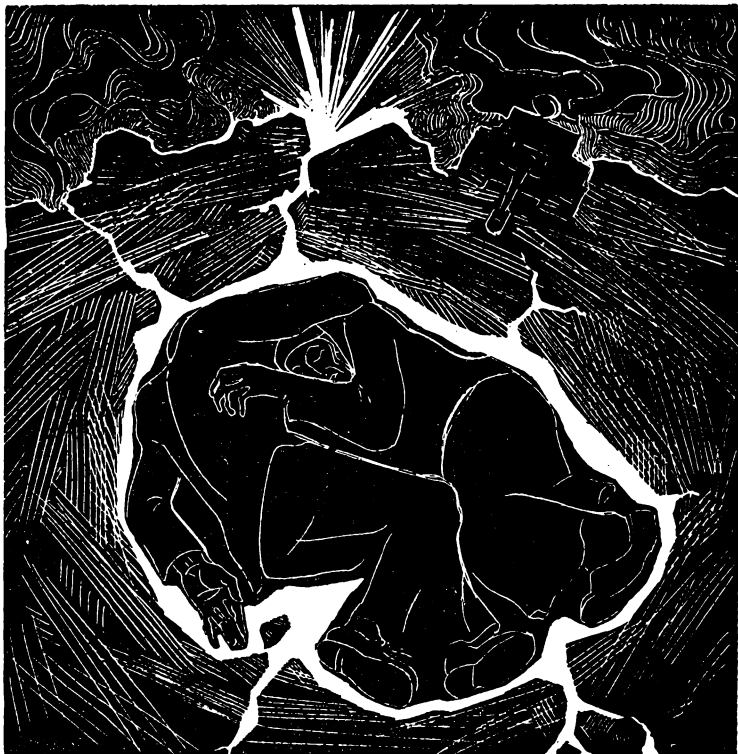
Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.

— Почему ты лежишь один посреди России?

Думала.

И больше ничего не спрашивала.

Вспоминала.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**БОЙ**



Орудийный гул опрокинул и смял ночную тишину. Просекая тучи снега и тьму, мелькали вспышки орудий, и под ногами качалась, дрожала, шевелилась расстрожено земля вместе со снегом, с людьми, припавшими к ней грудью.

В тревоге и смятении проходила ночь.

Наши войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой, как и под Сталинградом, отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции.

Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами и полками ждал удара противника на прорыв. Машины, танки, кавалерия весь день металась по фронту. Вечером выкатились на взгорок «катыши», поизорвали телефонную связь. Солдаты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами — так называли на фронте минометчиков с реактивных установок — «катюш». На зачехленных установках толсто лежал снег. Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Изредка всплывали над передовой ракеты, и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные спички потээров. Густо, как немытая картошка, насыпанная на снег, виднелись солдатские головы в касках и шапках.

В полночь приволоклась тыловая команда, принесла супу и по сто боевых граммов. В траншеях началось оживление. Тыловая команда, напуганная глухой метельной тишиной — казалось, враг вот он, ползет, подбирается, — торопила с едой, чтобы поскорее заполу-

чить термосы и умотать отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще принести еды и, если выгорит, водочки. Бойцы отпускать тыловиков с передовой не спешили, разжигали в них панику байками о том, как тут много противника и как он может ударить врасплох.

Эрэсовцам еды и выпивки не доставили, у них тыловики пешком ходить разучились. Пехота оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали похлевать супу и эрэсовцам. «Только чтобы по нам не палить!» — ставили условие.

Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпение кончалось, и у молодых солдат являлось желание ринуться в кромешную темноту, разрешить неведомое пальбой, боем, истратить накопившуюся злость. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель и неизвестность, надеялись: пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час, в километре, а может быть, в двух правее взвода Костяева послышалась большая стрельба. Сзади, из снега, ударили полуторасотки — гаубицы, и снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утягивать головы в воротники оснеженных, мерзлых шинелей.

Стрельба стала разрастаться, густеть и накатываться. Завывали мины, немаянно скрежетнули эрэсы, и озарились окопы грозными всполохами. Впереди, чуть левее, часто и заполошно тявкала батарея полковых пушек.

Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил к окопу, то и дело проваливаясь. Траншею хотя и чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер из снега, но все равно ходы сообщения забило местами вровень со срезами, да и не различить было эти срезы.

— О-о-о-од! Приготовиться! — кричал Борис, точнее, пытался кричать. Губы у него состылились, и команда получалась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в это время ударило из снега струями трассирующих пуль, мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посыпали автоматы; отрывисто захлопали винтовки и карабины.

Из круговерти снега возникла и покатила на траншею темная масса людей. С кашлем, криком и визгами ринулась она на траншею, завязла, закопошилась.

Началась рукопашная.

Оголодалые, деморализованные окружением и стужею, немцы лезли вперед безумно и слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за этой волной накатила другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, мерзлые, с визгом, откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбираясь — кто где. Да и разобрать уж ничего было нельзя.

Борис и старшина держались вместе. Старшина — левша, и в сильной левой руке он держал лопатку, а в правой — трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо быть. Он падал в сугроб, зарывался, потом вскакивал и делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял и отбрасывал что-то с пути.

— Не психуй! Пропадешь! — кричал он Борису.

Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей и понимать, что взвод его жив и дерется, но каждый боец дерется поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.

— Ребя-а-ата-а-а! Бе-ей! — кричал он, взрыдывая.

На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Мохнаков и оборонял его, оборонял себя и взвод. Пистолет у старшины выбили или обойма кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Отоптав место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и они клубком покатались в траншею, где копошились раненые, бросаясь друг на друга, воя от боли и слепой ярости.

Ракеты, много ракет взмывало в небо. И в их коротком, полощущем свете отрывками, проблесками возникали лоскутья боя, и в адовом столпотворении то сближались, то проваливались в геенну огненную и во тьму, зияющую за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете делалась черной, как порох, и пахла порохом. Секло лицо, забивало дыхание.

Огромный человек, шевеля огромной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался, нет, летел на огненных крыльях к окопу и крушил все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, слышались вопли.

— Бей его! Бей! — Борис стрелял из пистолета и не мог попасть, а сам пятился по траншее, уперся спиной в стену, перебирал ногами на месте и, как во сне, не понимал, почему не может убежать и что ему мешает.

Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая, и сам он, как выходец из преисподней, то разгорался, то, темнея, проваливался. Он дико выл, оскаливая зубы, и чудились на нем густые волосы, и лом ужё был не ломом, а выдран-

ным с корнем дубьем. Руки его длинные и с когтями... Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от него. Польшающий факел за спиной — будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло это чудовище, поднялось с четверенок и дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного жителя.

Мохнаков рванулся из траншеи, побрел, загребая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь. Немец рухнул к его ногам.

— Старшина-а-а-а! Мохнако-о-ов! — Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи. Но сзади кто-то держал его за шнель.

— Карау-у-у-ул! — тонко вел на последнем издыхе Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную нору. Борис отбросил Шкалика и ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась; и все в нем вдруг заостенело, сцепилось в твердый комок — теперь он попадет, твердо знал — попадет.

Ракета. Другая. Пучком выплеснулись ракеты, и Борис увидел старшину. Он топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по сторонам.

Погасло.

Старшина грузно свалился в траншею.

— Живой! Ты живой! — Борис хватал старшину, ощупывал.

— Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!.. — втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо выкрикивал старшина. — Простыня на нем вспыхнула... Страсть!..

Черная пороша вертелась над головой, ахали грана-

ты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте; кипела в растоптанной яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей.

И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели.

— Танки! — разноголосо завопила траншея.

Из темноты нанесло удушливой гарью. Танки безглазыми чудищами возникли из ночи. Скрежетали гусеницы на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под танками и на танках.

Им не было ходу назад, и все, что попадало на пути, они крушили и перемалывали. Пушки, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканьем, от которого заходило сердце, обрушился на танки залп тяжелых эрсов, адским огнем озарив поле боя, качнув окоп, как люльку, оплавляя все, что было в нем: снег, землю, броню, живых и мертвых.

Гул нарастал.

Возле тяжелого танка ткнулся и хокнул огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом и забегал влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, буровя перед собою живой, перекатывающийся ворох снега, слепо ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и немцы, и русские. Танк возник, зашевелился безглазой тушей над траншеей, траки лязгнули, повернулись с визгом, бросив на старшину и Бориса комья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее.

Надсаженно, на пределе завывал мотор, рубили и перемалывали мерзлую землю гусеницы.

— Да что же это такое?! Что же это такое?! — Борис, ломая пальцы, вжимался в твердую щель. Старшина тряс его, выдергивал, как суслика, из норы, но он вырывался и снова лез в землю.

— Гранату! Где гранаты?

Борис перестал биться в снегу, вспомнил: под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или утерял свои, или использовал уже. Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель — граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину и полз вслед за танком, который пахал траншеею, медленно, метр за метром прогрызая землю и снег, отыскивая опору для второй гусеницы.

— Пстой! Пстой, курва! Сейчас! Я тебя... сейчас! — взводный бросал себя за танком, а ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его, и он падал, запинаясь о раздавленных людей. Он утерял рукавицы, наелся земли, но держал гранату как рюмку, боясь расплескать ее, и плакал оттого, что не может настичь танк — ногами плохо владеет.

Танк ухнул в глубокую воронку, задержался в судорогах, и в это время, выпроставшись из снега, Борис приподнялся и, ровно в чиху играя, кинул под сизый выхлоп машины гранату. Жажнуло, обдало лейтенанта снегом и пламенем, ударило комками земли в лицо, забило рот и катануло его по траншее, как зайчонка.

Танк дернулся, осел и смолк. Со звоном опала гусеница и распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, и еще кто-то фуганул в танк гранату.

Остервенело лупили по танку ожившие бронебойщики, высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что танк не загорается. Возник немец без каски, стриженный, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. Он с живота строчил по танку из автомата, что-то кричал и подпрыгивал. Когда кончились патроны в рожке автомата, немец отбросил его и, обдирая кожу, начал колотить голыми кулаками по цементированной броне танка. Тут его и подсекло пулей. Он сполз под гусеницу, подергался маленько в снегу и успокоенно затих. Простыня, надетая вместо маскхалата, пометалась по ветру и закрыла его безумное лицо.

Бой откатился куда-то в сторону, в ночь. Гаубицы переместили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь и хрипя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катюши», что стояли с вечера возле траншей, горели, завязшие в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы смешались с пехотой, бились и погибали возле своих отстрелявшихся машин.

Впереди все таякала полковая пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий оружейный огонь да булькал батальонный миномет трубою, и вскоре еще две трубы начали бросать мины, и затрещал запоздало и обрадованно ручной пулемет, а станковый молчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов то тут, то там выскакивали темные фигуры чужих солдат, бросались во тьму, следом за своими, с криками и плачем.

По ним редко стреляли и никто их не догонял.

Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветье ракет. И чьи-то жизни ломало там и уродовало. А здесь все стихло. Убитых заносило снегом. На догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались патроны и гранаты, горячие



гильзы высыпались из коптящих машин, дымились и шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей, и к нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила и рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запырило коротко стриженные волосы девушки.

Надо было проверять взвод, готовиться к отражению новой атаки, если она возникнет, налаживать связь.

Старшина успел уже закурить. Он тянул сигарку и все посматривал на тушу танка, темную и неподвижную.

— Дай мне! — протянул руку Борис.

Старшина окурка ему не дал, достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, а потом уж кiset, бумагу, и когда взводный неумело скрутил сырую сигарку, прикурил и закашлялся, старшина бодро воскликнул:

— Ладно ты его! — И кивнул на танк.

Борис недоверчиво смотрел на усмиренную машину: такую громадину — такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во рту у него была земля, на зубах хрустело, гарью забило горло. Он кашлял и отплевывался. В голову его сильно ударяло, в глазах возникали радужные круги.

— Раненых.. — Борис почистил в ухе. — Раненых собирать! Замерзнут.

— Давай! — отобрал у него сигарку Мохнаков, бросил ее в снег и притянул взводного ближе к себе. — Идти надо, — донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в ухе, пальцами выковыривать землю.

— Что-то.. Тут что-то..

— Хорошо, цел остался! Кто ж так гранаты бросает?!

Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным снегом, ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопал на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот хлопающийся воротник старшины, как доскою, бил по голове, не больно, не оглушительно. Борис на ходу черпал рукою снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный, но живот несколько не остужало и, наоборот, даже жгло. Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позванивало, трескаясь, железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку-санструктора без шапки, снял свою и небрежно насунул ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приостановилась и погрела руки, сунув их под полушубок к груди.

Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева, подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.

— Живы! — обрадовался Борис.

— И вы живы! — тоже радостно отозвался Карышев и потянул воздух носищем так, что тесемка развязанной шапки влетела в ноздрю.

— А пулемет наш разбило, — не то доложил, не то повiniлся Малышев.

Мохнаков влез на танк, столкнул в люк перевесившегося еще вялого офицера, и тот загремел, будто в бочке. На всякий случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, осветил фонариком и, спрыгнув в снег, сообщил:

— Офицерьа наглушило! Полна утроба! Ишь, как ловко: солдат вперед, на мясо, а сами под броню... — Он склонился к санструкторше: — Как с пакетами?

— Связь! — громко и хрипло выкрикнул полуглу-

хой лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце.

Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе, и отрядил одного бойца к командиру роты, а если не сыщет ротного, велел бежать к комбату.

Из подбитого танка добыли бензина, плескали его на снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарился там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:

— Е-е-есть!

Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из танка, и все глаза устремились на него.

— По глотку раненым! — обрезал Мохнаков. — И... немножко доктору, — подмигнул он санинструкторше, но она никак не ответила на его щедрость и весь шнапс распределила по раненым, которые лежали на плащ-палатке за танком. Кричал обгорелый водитель с «катуши». Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не слышат.

Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним, — студено от мертвого. Выкатили на верх траншеи окоченелого фашиста. Кричащий его рот был забит снегом. Растолкали на стороны, повытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили над ранеными козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок, и согрелись немного в работе. Хлопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые, и, то затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девшегося неба,

мучился водитель. «Ну, что ты, что ты, браток?» — не зная, чем ему помочь, утешали водителя солдаты.

Одного за другим посылали трех бойцов в батальон, но никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшемся от мороза воротнике телогрейки, она стучала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки.

— Раненые замерзнут, — сказала девушка и прикрыла распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распухли, багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями — потрескалась кожа от ветра, холода и грязи.

Уже невнятно, будто засыпая с соской во рту, всхлипывал обожженный водитель.

Борис засунул руки в рукава и виновато потупился.

— Где ваш санинструктор? — не открывая глаз, спросила девушка.

— Убило. Еще вчера.

Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под ними слоились, затемняя взгляд, недвижные слезы. Она, напрягшись, ждала — не закричит ли водитель, и слезы из глаз ее откатились туда, откуда возникли.

— Я должна идти. — Девушка поежилась и постояла еще секунду, другую, вслушиваясь. — Нужно идти, — взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на бруствер траншеи.

— Бойца!.. Я вам дам бойца.

— Не надо, — донеслось уже издали.

Спустя минуту, Борис вскарабкался на верх траншеи. Срывая с глаз рукавом настывшее мокро, пытался различить девушку во тьме, но никого и нигде уже не было видно.

Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались липучей, и Борис решил, что метель скоро кончится: густо повалило — ветру не пробиться. Он возвратился к танку, постоял, опершись на гусеницу спиной.

— Карышев, собирайте все в костер! — угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил: — Раздевайте убитых, чтобы накрыть, — показал он взглядом на раненых, — и рукавицы мне где-нибудь найдите. Старшина! Боевое охранение как?

— Выставил.

— К артиллеристам бы сходить. Может, у них связь работает?

Старшина нехотя поднялся, затаил ту же полушубок и сам поволокся к пушчонкам, что так стойко сражались ночью. Вернулся скоро.

— Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже ранены. Снарядов нет. — Мохнаков охлопал снег с воротника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он оторван. — Прикажете артиллеристов сюда? — прихватывая ворот булавкой, спросил он.

Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которыми износ не было, двинулись за старшиной.

Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел с огневой позиции, попросил принести ему снарядов от разбитых пушек.

Так, без связи, на слухе и нюхе, продержались до утра. Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, завидев русских, побитые танки, чадающие машины, укатывались куда-то, пропадали навечно в сонно укутывающей все вокруг снеговой мути.

Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впе-

реди унялась пушчонка, звонко ударив в последний раз. Командир орудия или расстрелял все снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, как догадался Борис, не унимаясь бухали два миномета, а с вечера их было там много; стучали крупнокалиберные пулеметы; далеко куда-то, по неведомым целям начали бить громогласно и весомо орудия большой мощности. Пехота уважительно примолкла, да и огневые точки переднего края начали смущенно свертывать стрельбу, одна за другой; рявкнув на всю округу отлаженным залпом, редкостные орудия (знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек!), тратящие больше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но издалека еще долго докатывались толчки земли и звякали на поясах солдатские котелки от содрогания.

Перестало встряхивать воздух и снег. Дрожь под ногами и в ногах унялась. Снег оседал и лепился уже без шараханья. Он валил обрадованно, сплошно, будто висел над землей и копился, дожидаясь, когда тут внизу уймется огненная стихия.

Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрастывать головы из снега, оглядываясь недоверчиво вокруг.

— Все?! — спросил кто-то.

«Все!» — хотел закричать Борис, но долетели далекая дробь пулеметов и чуть слышные раскаты взрывов.

— Вот вам и все! — буркнул взводный. — Быть на месте. Проверить оружие!

— А-а-а-аев! А-я-я-аев!

Голос приближался.

— Ан-ан... Ая-я-аяев...

— Вроде вас кличут? — наострил тонкое и уловчивое ухо бывший пожарный, а ныне рядовой стрелок

Пафнутьев и заорал, не дожидаясь разрешения: — О-го-го-о-о-о-о! — грелся Пафнутьев голосом.

И только он кончил орать и прыгать, как из снега возник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощупал, отодвинулся.

— У-уф! Ищу, ищу! Чего же не откликаетесь-то?

— Ты бы хоть доложил... — заворчал Борис и вытащил руки из карманов.

— А я думал, вы меня знаете! Связной ротного, — вытряхивая рукавицы, удивился посыльный.

— С этого бы и начинал.

— Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не знаете! — забывая неловкость, допущенную им, затараторил солдат.

— Кунчай травить! — прогудел старшина Мохнаков. — Докладывай, с чем пришел, и угощай трофейной, если разжился.

— Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным вас, видать, назначат. Ротного убило у соседей.

— А мы, значит, тут? — сжал синие губы Мохнаков.

— А вы, значит, тут, — не удостоил его взглядом связной и протянул кисет: — Во! Наш саморуб-мордovorot! Лучше греет...

— Пошел ты со своим саморубом! Меня от него... Ты девку нигде не встречал?

— Не-е. А чё, сбегла?

— Сбегла, сбегла. Замерзла небось девка... — Мохнаков скользнул по Борису укоризненным взглядом. — Отпустили одну...

Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть с покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил:

— Как доберусь до батальона, первым делом пришло за ранеными. — И, стыдясь скрытой радости от того, что он уходит отсюда, громче добавил, приподняв плащ-палатку, которой были накрыты раненые: — Держитесь, братцы! Скоро вас увезут. Потерпите маленько.

— Ради бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холодно, мочи нет...

Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились с пути, и когда пришли в расположение роты, там никого уже не было, кроме сердитого связиста с расцарапанным носом. Он сидел, укрывшись плащ-палаткой, как бедуин в пустыне, и громко крыл боевыми словами войну, Гитлера и особенно напарника, который уснул на промежуточной точке, — телефонист посадил уж батарейки в аппарате, пытаюсь разбудить его зуммером.

— Во! Еще лунатики объявились! — с торжеством и злостью заорал связист, не отнимая пальца от гудящего, как оса, зуммера.

— Лейтенант Костяев, что ль? — И, получив утвердительный ответ, нажал клапан трубки: — Я сматываюсь! Доложи ротному. Код? — Пошел ты со своим кодом! Я окошел до смерти...

Продолжая ругаться, связист отключил аппарат и все повторял: — Ну, я ему дам! Ну, я ему дам! — Вынул из-под зада котелок, на котором сидел, охнув, поковылял по снегу отсиженными ногами. — За мной! — махнул он.

Резко затрещав катушкой, он сматывал длинный провод и озверело пер вперед, на промежуточную, чтобы насладиться мстостью: если напарник не замерз, пнуть его как следует.



Командир роты разместился за речкой, на окраине хутора в бане. Баня излажена по-черному, с каменной, — совсем уж редкость на Украине. Родом из семиречинских казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во языцех и не соответствовала его боевому характеру, приветливо, и даже чересчур приветливо, встретил своего взводного.

— Здесь русский дух! — весело гаркнул он. — Здесь баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!.. — Был он сильно возбужден боевыми успехами, а может, хватил маленько горячительного. — Во, война, Боря! Не война, а хреновина одна. Немцев сдалось — тучи. Прямо тучи. А у нас? — прищелкнул он пальцами. — Вторая рота почти без потерь, человек пятнадцать, да и те блудят, небось, либо дрыхнут у хохлуш, окаянные.

— А нас напарили! Половина взвода смята. Раненых надо вывозить.

— Да-а? А я думал, вас миновало. В стороне были... Но отбился же, — хлопнул Филькин по плечу Бориса и приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дых. Он покрутил восторженно головой: — Во, напиток! Стенолаз! Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем. Обоз не знаю где. Я им морды набью! А ты, Боря, на время пойдешь вместо... Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. Скромный, знаю. Но надо. Вот гляди сюда! — Филькин раскрыл планшетку и начал тыкать пальцем в карту. С отмороженного брюшка пальца сходила кожа, и кончик его был красненький и круглый, как редиска. — Значит, так: хутор нашими занят, но за хутором, в оврагах и на поле между хутором и селом, — большое скопление противника.

Предстоит добивать. Без техники немец, почти без боеприпасов и полудохлый, а черт его знает! Отчаялись. Значит, пусть Мохнаков снимает взвод, а сам крой выбирать место для воинства. Я подтяну туда все, что осталось от моей роты. Действуй! Береги солдат, Боря! До Берлина еще далеко!..

— Раненых уברי! Врача пошли. Самогонку отдай, — показал Борис на жбан с горлышком.

— Ладно, ладно, — отмахнулся комроты. — Возьму раненых, возьму, — и начал звонить куда-то по телефону. Борис решительно забрал посудину с самогонкой и, неловко прижимая ее к груди, вышел из бани.

Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и приказал быстро идти за взводом.

— Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите, — наказывал он. — Да не заблудись.

Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через огороды.

Занималось утро, или сделалось светлее оттого, что утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы. Возле домов стояли с открытыми люками немецкие танки, бронетранспортеры. Иные дымились еще. Болотной лягушкой расшеперилась середь дороги расплюснутая легковая машина, из нее расплывалось грязное пятно. Снег был черен от копоти. Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля. Плетни везде свалены; немногие хаты и сараи сворочены танками, побиты снарядами. Воронье черными лохмами возникало и кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное.

Воинская команда в заношенном обмундировании, напевая, как на сплаве, сталкивала машины с дороги, расчищала путь технике. Горел костерок возле хаты, и

у костерка грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тянули руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной ломаной лентой стояли танки и машины, возле них прыгали, толкались экипажи. Хвост колонны терялся в еще не осевшей снежной мути.

Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам и хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил:

— Девка-то, санинструкторша-то, трофейные повозки где-то надыбала, раненых всех увезла. Эрэсовцы — не пехота — народ союзный.

— Ладно. Хорошо. Ели?

— Чё? Снег?

— Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.

Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, приноживались. Но пришел Филькин и прогнал всех, а Борису дал нагоняй ни за что, ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озввел.

— За баней был? — спросил он.

— Нет.

— Сходи.

За давно не топленной, но все же угарно пахнувшей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будыля, лежали убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где, по всем видам, спасались уже не раз и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубок толсто напряденной пестрой шерсти. Залп артподготовки прижал их за баней — тут их и убило.

Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых било их осколками, посекло одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты.

Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, и эти она начала, должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревками, а старик — в неровно обрезанные опорки от немецких сапог. Борис подумал: старик обрезал их потому, что взъема у немецких сапог низки и сапоги не налазили на его больные ноги. Но потом догадался: старик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и постепенно добрался до взъема.

— Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей, — тихо уронил подошедший Филькин. — Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дразгах, но обнявшихся преданно в смертный час.

Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка.

— В сумке лепехи из мерзлых картошек, — объявил связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук старухи, и начал сматывать нитки на клубок. Сматал, остановился, не зная, куда девать сумку.

Филькин длинно вздохнул, поискал глазами лопату и начал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Но подошли бойцы, больше всего не любящие копать землю, возненавидевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у командиров.

Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки

пастуха и пастушки, да не смогли, и решили — так тому и быть. Положили их головами на восход, закрыли горестные, потухшие лица: старухино — ее же полushалком с реденькими висюльками кисточек, старика — ссохшейся, как слива, кожаной шапчонкой. Связной бросил сумку с едой в щель и принялся кидать лопатой землю.

Зарыли безвестных стариков, бугорок лопатами прихлопали, кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет — земля-то мерзлая, со снегом, и тогда сельяне, может быть, перехоронят старика со старухой. Пожилой долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную молитву, и никто не осудил его за это: покойные-то — старики.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# СВИДАНИЕ

И ты пришла, слышав ожиданье...

*Я. Смеляков*

**Солдаты пили самогонку.**

Пили торопливо и молча, не дожидаясь, когда сварится картошка.

Пальцами доставали перекишную капусту из глечика, хрустели, кричали и не смотрели друг на друга.

Хозяйка дома, по имени Люся, пугливо смотрела в сторону солдат, подкладывала сухие ветки акаций и жгуты соломы в печь, торопилась доварить картошку. Корней Аркадьевич Ланцов, расстилавший солому на полу, выпрямился, отряхнул ладонями штаны и боком подсел к столу:

— Налейте и мне.

Борис сидел у печки, грелся и отводил глаза от хозяйки, возившейся рядом. Старшина Мохнаков поднял с полу немецкую канистру, налил полную кружку, подсунул ее Ланцову и криво шевельнул углом рта:

— Запыживай, паря!

Корней Аркадьевич суетливо оправил гимнастерку, будто нырять в прорубь собрался. Судорожно дергаясь и всхлипывая, вытянул самогонку и какое-то время сидел оглушенный. Наконец наладилось дыхание, и он жалко пролепетал, убирая пальцем слезу:

— Ах, господи!

Скоро, однако, он приглушил застенчивость, оживился, пытаясь заговорить с солдатами, со старшиной. Но те упорно молчали и глушили самогонку. В избе де-

лалось все труднее дышать от табачного дыма, стойкого запаха затхлой буряковой самогонки и гнетущего ожидания чего-то худого.

«Хоть бы сваливались скорее, — с беспокойством думал взводный, — а то уж и жутко даже...»

— Вы тоже выпили бы, — обратился к нему Корней Аркадьевич, — право, выпили бы... Оказывается, помогает...

— Я дождусь еды, — отвернулся к печи Борис и стал греть руки над задымленным шестком. Труба тянула плохо, выбрасывала дым, — видать, давно нет мужика в доме.

Неустойчиво все во взводном, в голове покачивается и звенит еще с ночи. Разбил он однажды сапоги до того, что остались передки с голенищами. Подвязал их проволокой, а когда простыл и ходить вовсе не в чем сделалось, стянул сапоги с такого же, как он, молоденького лейтенанта, полегшего со взводом в балке. Стянул, надел — и у него три дня стыли ноги в этих сапогах. И он поскорее сменял их. Теперь вот у него такое ощущение, будто весь он в сапоге, стянутом с убитого человека.

— Промерзли? — спросила хозяйка.

Он потер виски ладонью, приостановил в себе обморочную качку и взглянул на нее осмысленно. «Есть маленько», — хотелось сказать ему, но он ничего не сказал, сосредоточил разбитое внимание на огне под таганком. По освещенному огнем лицу хозяйки пробежали тени. И было в ее маленьком лице что-то как будто недорисованное, подкопчено лампадками или лучиной деревенской было оно, и проступали отдельные лишь черты лика. Хозяйка чувствовала на себе пристальный и украдчивый взгляд и покусывала припухлую нижнюю губу. Нос у нее ровный, с узенькими раскрылками и припачкан сажей. Овсяные, как определяют в наро-



де, глаза, вызревшие в форме овсяного зерна, прикрыты кукольно загнутыми ресницами. Когда хозяйка открывала глаза, из-под ресниц этих обнажались темные и тоже очень вытянутые зрачки. В них метался отсвет огня, и они делались переменчивыми: то темнели, то высветлялись и жили как бы отдельно от лица. Но из загадочных, словно перенесенных с другого, более крупного лица, глаз этих не исчезало выражение глубокой, устоявшейся печали. И еще Борис заметил, как беспокойны руки хозяйки. Она все время пыталась и не могла найти им место.

Солома прогорела. Веточки акаций лежали горсткой раскаленных гвоздиков, и от них шел сухой струйный жар. Рот хозяйки чуть приотворился, и руки успокоились у самого горла. Казалось, спугни ее — и она, вздрогнув, уронит руки, как не свои.

— Может быть, сварилась? — осторожно дотронулся до локтя хозяйки Борис.

— А? — хозяйка резко отступила в сторону. — Да, да, сварилась. Сейчас попробуем. — Произношение не украинское. И ничего в ней не напоминало украинку, разве что платок, глухо завязанный, да передник, расшитый тесьмою. Но немцы всех женщин здесь научили глухо повязываться, прятаться и бояться.

Люся выдвинула кочергой ведерный чугунок на край припечка, ткнула пальцем в картофелину, затрясла рукою и сунула палец в рот.

Прихватив чугунок солдатской портянкой, Борис отлил воду в лохань, стоявшую в углу под рукомойником. Из лохани ударило тяжелым паром. Хозяйка вынула палец изо рта, спрятала руку под передник и потерянно наблюдала за Борисом.

— Вот теперь налейте и мне, — поставив чугунок на стол, произнес лейтенант.

— Да ну-у-у? — громко удивился Мохнаков. — К концу войны, глядишь, и вы с Корнеем обстреляетесь! — И опять шевельнулся угол рта старшины, будто подкова одним концом разогнулась.

Борис даже не посмотрел на старшину.

— Подвинься-ка! — двинул он в бок Шкалика.

Шкалик ужаленно подскочил и чуть не упал со скамейки.

— Напоили мальчишку! — буркнул Борис, не обращаясь ни к кому. — Садитесь, пожалуйста, — позвал он Люсю, одиноко прижавшуюся спиной к остывающему шестку и все еще прячущую руку под передником.

— Ой, да что вы! Кушайте, кушайте! — почему-то испугалась хозяйка и стала суетливо шарить по платку и по груди.

— Н-не, девка, не отказывайся, — распевно завел Пафнутьев, — садись, не моргуй солдатской едой. Мы худого тебе не сделаем. Мы...

— Да хватит тебе! — Борис похлопал рукой по скамейке, с которой услужливо сошел Пафнутьев. — Я вас очень прошу.

— Хорошо, хорошо! — Люся как будто застыдилась, что ее упрасивают, что лейтенант даже на солдата рассердился почему-то. — Я сейчас, одну минутку...

Она исчезла в чистой половине, прикрытой створчатой дверью, и скоро возвратилась оттуда без платка и передника. У нее была коса, уложенная на затылке. Легкий румянец выступил на бледном лице ее. Не ко времени и не к месту она тут, среди грязных, мятых, умаенных и сердитых солдат, думалось ей, и она стеснялась себя.

— Напрасно вы здесь расположились, — скованно заговорила она и пояснила Борису: — Просила, проси-

ла, чтоб проходили туда, — махнула она на дверь в чистую половину.

— Давно не мылись мы, — сказал Карышев, а его односельчанин и кум Малышев добавил:

— Наоставляем трофеев...

Старшина налил всем и Люсе тоже. Стали чокаться. Зазвенели кружки, банки, звякнул стакан, из деликатности отданный Люсе. Она подождала с поднятым стаканом — не скажет ли чего командир. Он ничего не говорил, и Люся, потупившись, вымолвила сама:

— С возвращением вас... — и отвернулась к печке, — мы так вас долго ждали. Так долго... — она говорила с какой-то виноватостью. Отчаянно, в один дух, Люся выпила самогонку и закрыла ладошкой рот.

— Вот это по-нашенски! Вот видно, что рада! — загудел Карышев и потянулся к ней с американской колбасой на складнике, с наспех ободранной картофелиной. Шкалик хстел опередить Карышева да уронил картошку. Ему в ширинку накрошилось горячее, он забился было, но тут же испуганно сжался. Взводный с досадою отвернулся. Шкалик стряхнул горячее в штанину, и ему сделалось лучше.

Человек этот, Шкалик, был непьющий. Еще Борис и Корней Аркадьевич непьющие, оттого чувствовали они себя иной раз бросовыми людьми и не такими прочными бойцами, как все остальное воинство, которое хотя тоже большей частью пило «для сугрева», но как-то умело внушить свою полную отчаянность и забубенность. Вообще мужик наш, русский мужик, очень любит нагонять на себя отчаянность, а посему и привирает подчас совершенно безгрешно насчет баб и выпивки. Пил сильно, но не пьянел лишь старшина, добывая где-то даже в безлюдных местах горючку всяких видов, и возле него всегда крутился услужливый, падкий на

дармовщину, бывший боец сельской пожарной команды Пафнутьев. Малышев и Карышев пивали редко, зато уж обстоятельно. Получая свои сто граммов, они сливали их во флягу и, накопив литр, а то и поболее, и дождавшись благой, затишной минуты, устраивались на поляне либо в хате какой, неторопливо пили, чокаясь друг с другом, и ударялись в воспоминания, «советовались», — как объясняли они эти свои беседы. А потом пели — Карышев басом, Малышев дискантом:

За ле-есом сонце зы-ва-сия-а-ало,  
Гы-де черы-най во-еора-а-ан про-кы-рича-ал.  
Пы-рашли ча-сы, пы-рашли-и-и ми-ину-у-у-ты-ы-ы,  
Кавды-ы зы-девчо-е-онкой я-а-а гу-ля-а-а-ал...

— Откуль будешь, дочка? — лез с вопросом к Люсе любящий всех людей на свете Карышев, покрасневший от выпивки. — По обличью и говору навроде русская? — И Малышев собирался вступить в разговор, но взводный упредил его:

— Дайте человеку поесть.

— Да я могу и есть, и говорить. — Люся радовалась, что солдаты сделались ближе и доступней. Один лишь старшина незаметно ощупывал ее потаенным взглядом. От этого всепонимающего, налитого тяжестью взгляда ей становилось не по себе. — Я не здешняя.

— А-а. То-то я и гляжу: обличье... Не челдонка случаем? — все больше смягчая лицом, продолжал расспрашивать Карышев.

— Не знаю.

— Вот те раз? Безродная, что ли?

— Ага.

— А-а. Тогда иное дело. Тогда конечно... Судьба, она, брат, такое может с человеком сотворить...

Взводный души не чаял в этих двух алтайцах-кумовьях, которые родились, жили и работали в самой

красивой на свете, по их заверению, алтайской деревне Ключи. Не сразу понял и принял этих солдат Борис. Поначалу, когда пришел во взвод, казались они ему тупицами, он даже раздражался, слушая подковырки и насмешки их друг над другом. Карышев был рыжий. Малышев — лысый. Эти-то два отличия они и использовали предметами для шуток. Стоило снять Карышеву пилотку, как Малышев начинал зудеть: «Чего разболочся? Взбредет в башку германцу, что русский солдат картошку варит на костре, — и зафитилит из орудья!» Карышев срывал пучок травы и бросал на лысину Малышеву: «Блестишь на всю округу! Фриц подумает — миномет туда — и накроет!»

Солдаты в покат валились, слушая перебранку алтайцев, а Борис думал: «До чего же отупеть надо, чтобы радоваться таким плоским да и неловким для пожилых людей насмешкам». Но постепенно привык он к людям, к войне и стал их видеть и понимать по-другому и ничего уже неловкого в солдатских шутках не находил.

Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы. Воевали по необходимости да основательно. В «умственные» разговоры вступали редко, но уж если вступали — слушай.

Как-то Карышев срубил под корень Ланцова, вставшего в рассуждение насчет рода людского. «Всем ты девицам по серьгам отвесил: и ученым, и интеллигентам, и рабочим, в особенности, потому как сам из рабочих и главнее всех сам себе кажешься. А всех главнее на земле — крестьянин-хлебопашец. У него есть все: земля! У него и будни, и праздники в ней. Отбирать ему ни у кого ничего не надобно. А вот у крестьянина отведку нароят отнять хлеб. Германец, к слову, отчего воюет и воюет? Да оттого, что крестьянствовать раз-

учился и одичал без земляной работы. Рабочий класс у него машины делает и порох. А машины и порох жрать не будешь! Вот он и лезет везде, зорит крестьянство, землю топчет и жгет, потому как не знает цену ей. Его бьют, а он лезет. Его бьют, а он лезет!»

Карышев сидел нынче за столом широко, ел опрятно и с хитровой мудрецей поглядывал на Корнея Аркадьевича. Гимнастерку алтаец расстегнул, пояс отвязал, был широк и домовит. Картошку он чистил брюшками пальцев, раздевая ее, незаметно подсовывал Люсе и Шкалику. Совсем уж пьяный был Шкалик, шатался на скамейке и ничего не ел. Нес капусту в рот, да не донес, всю на гимнастерку развесил. Карышев потрянул на нем гимнастерку, ленточки капусты сбросил на пол. Шкалик тупо следил за его действиями и вдруг ни с того ни с сего ляпнул:

— А я из Чердынского району!..

— Ложился бы ты спать, из Чердынского району, — заворчал отечески Карышев и показал Шкалику на солому.

— Не верите? — Шкалик жалко, по-ребячьи лупил глаза. Да и был он еще парнишкой — прибавил себе два года, чтобы поступить в ремесленное училище и получать бесплатное питание, а его в армию забрали — и оказался Шкалик на фронте, в пехоте.

— Есть такое место на Урале, — продолжал настаивать Шкалик, готовый вспылить или заплакать. — Там знаете какие дома?!

— Большие! — хмыкнул Пафнутьев — мужичонка прицепистый и всем недовольный.

— Ры-разные, а не большие, — поправил его Шкалик, — и что тебе наличники, и что тебе ворота — все из... изрезанные, изукрашенные... И еще там купец жил — рябчиками торговал... ми... мильёны нажил...

— Он не дядей тебе случайно приходится? — продолжал расспрашивать Пафнутьев, и Люся почувствовала: не по-хорошему он парнишку подъезжает. Шкалик ничего разобрать не мог, охотно беседовал.

— Н-е, мой дядя конюхом состоит.

— А тетя — конюшихой?

— Тетя? Тетя конюшихой. Смеетесь, да? — Шкалик прошелся по застолью налитыми горем глазами, часто захлопал прямыми и белыми, как у поросенка, ресницами. — У нас писатель Решетников жил! — звонко закричал Шкалик и стукнул кулачишком по столу: — «Подлиповцы» читали? Это про нас...

— Читали, читали... — начал успокаивать его Корней Аркадьевич. — Пила и Сысойка, девка Улька, которую живьем в землю закопали... Все читали. Пойдемка спать. Пойдем баиньки, — он подхватил Шкалика, поволок его в угол на солому, а Пафнутьеву бросил: — До чего ты ржавый крючок!

— Во! — кричал Шкалик. — А они не верят! У нас еще коней разводили!.. Графья Строгановы...

— И откуль в таком маленьком человеке столько памяти? — развел руками Пафнутьев.

— Хватит! — прикрикнул Борис. — Дался он вам...

— Я серьезно...

Все в Борисе одрябло, даже голос. В паутинистом сознании путались предметы, лица солдат ровно бы выцветшие, подернутые зыбкой пеленой. Сонная тяжесть давила на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было тяжело. «Уходилсь! — вяло подумал Борис. — Больше не надо выпивать...» Он начал есть капусту с картошкой, попил холодной воды и почувствовал себя тверже.

Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так же отдаленно улыбался, кривя угол рта.

— Извините, — сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой. Он все время ловил на себе убегающий взгляд этих до незаправдашности красивых глаз. Будто с экрана, издалека глядела она, и то темнело, то прояснялось лицо ее. — Держу при себе, как ординарца, хотя мне он и не положен, — пояснил Борис насчет Шкалика, чтобы хоть о чем-то говорить и не пялиться на хозяйку. — Горе мне с ним: ни починиться, ни сварить... и все теряет... В запасном полку отоцал, куриной слепотой заболел.

— Зато мягкосердечный, добренький зато, — неожиданно вставил Мохнаков, глядя в потолок и как бы ни к кому не обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем затяжелели. А в горле его ржа появилась. Помкомвзвода почему-то недобро подъедал взводного. Солдаты насторожились — этого никогда еще не было. Старшина, как родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то произошло между ними. Ну произошло и произошло, разбирайтесь потом, а сейчас, в этой хате, при такой молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем хотелось быть добрыми и хорошими. Ланцов, Карышев, Малышев, даже Пафнутьев с укором глядели на своих командиров.

Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насылались с выпивкой, зная, что чарка всегда была верным орудием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и пьяно лип с просьбой выпить.

Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, а потом к атеистически настроенному пролетариату присоединился, не жалея времени и головы, прочел без разбора множество всяческой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям,



— Ах, Люся, Люся! — схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и артистично замирал, прикрыв глаза. — Что мы повидали! Одной ночи на всю жизнь хватит...

«Прямо как на сцене! — морщился Борис. — Будто он один насмотрелся».

Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата:

— Корней Аркадьевич! Ну что вы, ей-богу! Давайте о чем-нибудь другом. Споемте? — нашелся взводный.

Звенит звянок насчет проверки,  
Ланцов из за-амка у-убежа-а-ал...

Охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев. Но Корней Аркадьевич прикрыл его рот тощей ладонью:

— Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал. — Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам, пусть, мол, потешится человек. — Я сегодня думал. Вчера думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кроволитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Последней! Или люди не достойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо.

— Стоп, военный! — хлопнул по столу старшина и поймал на лету ложку. — Хорошо ты говоришь, но под окном дежурный с колотушкой ходит... — Мохнаков со значением глянул на Пафнутьева, сунул ложку за валенок. — Иди, прохладись да пописасть не забудь — здесь светлее сделается, — похлопал он себя по лбу.

Люся очнулась, перевела взгляд с Ланцова на старшину, и видно было, что ей жаль солдата, которого зачем-то обижали старшина и лейтенант.

— Простите! — склонил в ее сторону голову Корней Аркадьевич. Он-то чувствовал отзывчивую душу. — Простите! — церемонно поклонился застолью Ланцов и, хватаясь за стены, вышел из хаты.

— Во, артист! Ему комедь представлять бы, а он в пехоте! — засмеялся Пафнутьев.

Большеголовый, узкогрудый, с тонкими длинными ногами, бывший пожарный походил на гриб, растущий в отбросах. Злой, хитрый, ловкий солдат Пафнутьев. И все-таки лучше б его во взводе не было.

Шкалик сел на соломе, покачался, поморгал и потянулся к банке.

— Не цапай чужую посудину! — рыкнул на него старшина и сунул ему чью-то кружку. Шкалик понюхал, его затошнило.

— Марш на улицу! Свинство какое! — Борис, краснея, отвернулся от хозяйки, уставился на старшину. Тот отвел глаза к окну, скучно зевнул и стал царапать ледок на стекле.

— Да что вы, да я всякого навидалась! — пыталась поправить неловкую заминку Люся. — Подотру. Не сердитесь на мальчика. — Она хотела идти за тряпкой, но Карышев придержал ее и показал на банку с колбасой. Она стала есть колбасу. — Ой! — спохватилась хозяйка. — А вы сала не хотите? У меня сало есть!

— Хотим сала! — быстро повернулся к ней старшина, нагло вато щурясь. — И еще кое-чего хотим, — бросил он с ухмылкой Люсе вдогонку.

Пафнутьев, подпершись ладонью, тянул тоненько песню про Ланцова, который из замка убежал. У него раскисли глаза.

Мохнаков навис глыбою над столом, начал шарить по карманам, чего-то отыскивая. Вытащил железную пуговицу, подобрал ее, поймал и чересчур решитель-

но вышел из избы, тяжелее обычного косолапя. Както подшибленно стал ходить старшина — заметили солдаты, и чаще подбрасывает пуговицу или монету, и не ловит ее игриво, а прямо-таки выхватывает из пространства. Начал было вместо пуговицы синенькой немецкой гранатой баловаться. Граната наподобие пасхального яичка — такая веселая игрушка. Но бойцы зароптали, дескать, если желательнее старшине, чтобы ему оторвало кой-чего, — пусть жонглирует вдали, а им все, что с собой, — до дому сохранить охота.

В хату возвратился Ланцов и мотнул головой Борису.

Взводный подпрыгнул на скамье, разбежавшись, пнул дверь.

В потемках сеней наткнулся на Шкалика. Тот не мог найти скобу. Борис втолкнул Шкалика в хату и прислушался. В темном углу сеней слышалась возня и Люсин срывающийся голос: «Не нужно! Да не надо же! Да что вы?! Да товарищ старшина!..»

— Мохнаков!

Стихло. Из темноты возник старшина, придвинулся, тяжело и смрадно дыша.

— Выйдем на улицу!

Старшина помедлил и нехотя шагнул впереди Бориса, не забыв пригнуться у притолоки. Они стояли один против другого. Ноздри старшины посапывали, вбирая студеной воздух. Борис подождал, пока стукнет дверь и уйдет в хату Люся.

— Чем могу служить! — придвинулся старшина. Дыхание его выровнялось, он не сипел уже ноздрями.

— Вот что, Мохнаков! Если ты... Я тебя убью! Пристрелю. Понял?

Старшина отступил шаг, смерил лейтенанта взглядом с ног до головы и вяло, укоризненно молвил:

— Оконтузило тебя гранатой, вот и лезешь на стены.

— Ты знаешь, чем меня оконтузило.

Старшина запахнул полушубок, осветил взводного фонариком. Тот не зажмурился, не отвел взгляда. Изветренные губы лейтенанта кривило судорогой. В подглазьях темень от земли и бессонницы. Глаза в красных прожилках, шея скособочилась — натер шею воротом шинели, а может, старая рана воспалилась. Стоит, пялит зенки школьные, непорочные.

— По-нят-но! Спа-си-бо! — Мохнаков понял: этот лупоглазый Боречка, землячок его родимый, которым он верховодил и за которого хозяйничал во взводе, — убьет! Никто не осмелится поднять руку на старшину, а этот...

— Стрелок какой нашелся! — нервно рассмеялся старшина и подбросил фонарик. Светлое пятнышко взвилось, ударилось в ладонь и погасло. Старшина поколотил фонарик о колено и, когда он загорелся, еще раз придвинул огонек к лицу Бориса, будто подпалить хотел едва наметившуюся бородачку. «Ну, смотри, паря!» — предупреждали глаза старшины из темноты. — Я ночью в другой избе, — сказал он и пошел, освещая себе дорогу пятнышком. — Катитесь все вы!.. — крикнул уже издали старшина.

Борис прислонился спиной к косяку двери. Его подтачивало изнутри. Губы свело, в теле слабость, в ногах слабость. Давило на уши, и пузырилось, лопалось что-то в них. Он глядел на два острых тополя, стоявших против дома, в скверике или на пустыре. Голые, темные, в веник собранные тополя недвижны и подрост за ними — вишенник или терновые кусты — клубится немymi взрывами.

Сколки звезд светились беспокойно и мерзло. По

улицам метались огни машин, вякали гармошки, всплескивался хохот, скрип подвод слышался, и где-то напуганно лаяла охрипшая собака.

«Ах ты, Мохнаков, Мохнаков!» — Борис опустил на порожек сены, засунул руки меж колен, мертво уронил голову.

Лай собаки отдалился...

\* \* \*

— Вы же закоченели, товарищ лейтенант! — слышался голос Люси. Она нащупала Бориса на порожке и мягко провела ладонью по его затылку. — Шли бы в хату.

Борис передернул плечами, открыл глаза. Поле в язвах воронок; старик и старуха возле картофельной ямы; огромный человек в пламени; хрип танков и людей; лязг осколков; огненные вспышки, крики — все это скомкалось, отлетело куда-то, и, дергающееся возле самого горла, сердце сжалось, постояло на мертвой точке и опало на свое место.

— Меня Борисом зовут, — возвращаясь к самому себе, выдохнул с облегчением взводный, — какой я вам товарищ лейтенант!

Он отстранился от двери, не понимая, отчего колотится все в нем, и сознание, все еще отчетливое, скользкое — будто по ледяной катушке, катятся по нему обрывки видений и опадают за остро отточенную, но неуловимую грань. С трудом еще воспринималась явь — эта ночь, наполненная треском мороза, шумом отвоевавшихся людей, и эта женщина с театральными, невзаправдашними глазами, зябко прижавшаяся к косяку двери.

— Как тихо! Все остановилось. Прямо и не верится. Вам принести шинель?

— Нет, к чему? — не сразу отозвался Борис. Он старался не встречаться с нею взглядом. — Пойдемте в избу, а то болтовни не оберешься...

— Да уж свалились почти все. Вы ведь долго сидели. Я уж беспокоиться начала... А Корней Аркадьевич все разговаривает сам с собой. Занятный человек... — Хозяйка хотела и не решалась о чем-то спросить. — А старшина... вернется?

— Нет! — преодолевая замешательство, коротко ответил взводный, и хозяйка сразу оживилась, заспешила.

— В избу! — нашаривая скобу, смеялась она. — Я уж отвыкла. Все хата, хата, хата... — Она не открыла дверь сразу. Борис уперся в ее спину руками — под тонким ситцевым халатом круглые неожиданно сильные лопатки и пуговка под пальцы угодила. Люся поежилась, заскочила в хату. Борис вошел следом. Пряча глаза, он погрел руки о печь и начал разуваться.

В хате жарко и душно. Подтопок резво потрескивал. Горели в нем сосновые добрые поленья, раздобытые где-то солдатами. Сзади подтопка, вмурованный в кирпичи, сипел по-самоварному бак с водою. Взводный поискал, куда бы пристроить портянки, но все уже было завешено пожитками солдат, и от них расплывалась по кухне хомутная прель. Люся отняла у Бориса портянки, приладила их на поленья возле дверцы подтопка.

Ланцов качался за столом, клевал носом.

— Ложились бы вы, Корней Аркадьевич, — Борис прижимался спиной к подтопку и ощущал, как распускается и вянет его нутро. — Все уже спят и вам пора.

— Варварство! Идиотство! Дичь! — будто не слыша Бориса, философствовал Ланцов. — Глухой Бетховен для светлых душ творил, а фюрер под его музыку

заставил маршировать своих пустоголовых убийц! Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины! Геринг их уворовал. Когда припрет — он их в печку... И откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы! Так вот и к женщине! Чем она прекраснее, тем больше хочется лапать ее насильникам...

— Может, все-таки хватит? — оборвал Борис Корнея Аркадьевича. — Хозяйке отдыхать надо. Мы и так обеспокоили.

— Что вы, что вы?! Даже и не представляете, как радостно видеть и слышать своих! Да и говорит Корней Аркадьевич человеческое. Мы тут отучились уж от людских-то слов.

Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсю.

— Простите старика. — Он потискал костлявыми пальцами обросшее лицо. — Напился, как свинья! И вы, Борис, простите. Ради бога! — Уронив голову на стол, он пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала подушку из чистой половины, подсунула ее под голову Корнея Аркадьевича. Услышав мягкое под щекою, он клюпнул носом: — Подушка! Ах вы, дети! Как мне вас жалко! — Свистнув прощально носом, он отчалил от этих берегов, задышал ровно, с пришлепом.

— Пал последний мой гренадер! — через силу улыбнулся Борис.

Люся убирала со стола. Взявшись за посудину с самогоном, она вопросительно глянула на лейтенанта.

— Нет-нет! — поспешно отмахнулся он. — Запах от нее... в пору тараканов морить!

Люся поставила канистру на подоконник, смела со стола объедь, вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис

отыскивал место среди разметавшихся, убитых сном солдат. Шкалика — мелкую рыбешку — выдавили наверх матерые осетры-алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже было — кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку. Храпел Малышев, и солому трепало возле его рта, как в буран. Взлетали планки пяти медалей на булыжной груди Карышева. Сами медали у него в кармане: колечки соединительные, говорит, слабы — могут отцепиться.

Борис швырнул мокрую шинель к ногам солдат, рывком выдернул из-под них клок измочаленной соломы и начал стелить в головах телогрейку. Люся смотрела, смотрела и, на что-то решившись, взяла с пола шинель, телогрейку лейтенанта и забросила их на печь. Приподнявшись на припечек, расстелила одежду, чтобы лучше просыхала, и, управившись с делом, легко спрыгнула на пол.

— Ну, зачем вы? Я бы сам...

— Идите сюда! — позвала Люся. Стараясь ступать тихо, лейтенант боязливо и послушно поволокся за нею.

В передней горел свет. Борис зажмурился — таким ярким он ему показался. Комната убрана просто и чисто. Широкая скамья со спинкой, на ней половичок, расшитый украинским орнаментом. Пол земляной, но гладко, без щелей, мазанный. Среди комнаты, в деревянном ящике — раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На подоконнике тоже стояли цветы в ящиках и старых горшках. Воздух в передней домашний, земляной. Скучная опрятность кругом, и все же после кухонного густолюдья и спертго запаха отдавало здесь нежилым, парником вроде бы отдавало.

Борис переступал на холодном, щекочущем пятки полу, стыдясь грязных ног, и с подчеркнутым интере-



сом глядел на лампочку нерусского образца — приплюснутую снизу.

Люся, тоже ровно бы потерявшись в этой просторной выветренной комнате, говорила, что селение у них везучее. За рекой вон хутор поразбили, а здесь все цело, хотя именно здесь стоял целый месяц немецкий штаб, но наши летчики, видать, не знали об этом. Локомотив немцы поставили. В хате квартировал важный генерал, для него и свет провели, да ночевать-то ему здесь почти не довелось, в штабе и спал. Отступали немцы за реку бегом, про локомотив забыли, вот и остался он на полном ходу.

Сбивчиво объясняя все это, хозяйка раздвинула холщовые занавески с аппликациями. За узенькой фанерной дверью обнаружилась еще одна небольшая комнатка. В ней был деревянный, неровно пригнанный пол, застланный пестрой реднинкой, этажерка с книгами, поломанный гребень на этажерке, наперсток, ножницы, толстая хомутная игла, воткнутая в вышитую салфетку. У глухой стены против окна — чистая кровать с одной подушкой. Другую подушку, догадался Борис, хозяйка унесла Корнею Аркадьевичу.

— Вот тут и ложитесь, — показала Люся на кровать.

— Нет! — испугался взводный. — Я такой... — пошарил он себя по гимнастерке и ощутил почуствовал под нею давно не мытое, очерствелое тело.

— Вам ведь спать негде.

— Может быть, там, — помявшись, указал Борис на дверь. — Ну, на скамье. Да и то... — он отвернулся, покраснел. — Зима, знаете. Летом не так. Летом почему-то меньше бывает...

Хозяйке передалось его смущение, и она не знала, как все уладить. Она смотрела на свои руки. Борис за-

метил уже, как часто она смотрит на руки, будто пытается понять — зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся покусала губу и решительно шагнула в переднюю. Вернулась с ситцевым халатом и протянула его:

— Сейчас же снимайте с себя все! — скомандовала она. — Я вам поставлю корыто, и вы немножко побанитесь. Да смелей, смелей! Я всего навидалась. — Она говорила бойко, напористо, даже подмигнула ему: не робей, мол, гвардеец! Но тут же зарделась сама и выскользнула из комнаты.

Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна была оловянная, солдатская, а сзади пришит поясок. Смешно сделалось Борису. Он даже что-то веселое забормотал, да опомнился, скомкал халат, толкнул дверь, чтобы выкинуть дамскую эту принадлежность.

— Я вас не выпущу! — Люся держала фанерную дверь. — Если хотите, чтобы высохло к утру, — раздевайтесь!

Борис опешил:

— Во-о, дела-а! — Почесал затылок. — А-а, да что я на самом деле — вояка или не вояка?! — Решительно сбросил с себя все, надел халат, застегнулся и, собрав в беремя монатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с крупной чашечкой.

Люся прикрыла рот ладонью. Поглядывая украдкой на лейтенанта, она вытащила из кармана гимнастерки документы, бумаги, отвинтила орден Красной Звезды, гвардейский значок, отцепила медаль «За боевые заслуги». Осторожно отпоролла желтенькую нашивку — знак тяжелого ранения.

Борис щупал листья цветка, нюхал красный бутон и

дивился — ничем он не пахнет. Вдруг обнаружил — цветок-то из стружек! Червонный цветок напоминал сырую рану, и занудило опять нутро взводного.

— Это что? — Люся показала нашивку.

— Ранение, — отозвался Борис и почему-то поспешно соврал: — Легкое.

— Куда?

— Да вот, — ткнул он пальцем себе в шею. — Пулей чиркнуло. Пустяки.

Люся внимательно поглядела, куда он показал, — чуть выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам. В ушах лейтенанта земля, воспаленные глаза в угольно-темном ободке. Колючий ворот мокрой шинели натер шею лейтенанту, и он словно бы в галстук. Кожей своей ощутила женщина, как саднит шея и как все устало в человеке от пота, грязи и, пропитанной сыростью и запахом гари, военной одежды.

— Пусть все лежит на столе, — сказала Люся и снялась с места. — Немножко еще помучайтесь, и я вас побаню.

«Побаню!» — подхватил взводный тутошнее слово.

— Возьмите книжку, что ли, — приоткрыв дверь, посоветовала Люся.

— Книжку? Какую книжку? Ах, книжку!

В маленькой комнатке Борис присел перед этажеркой. Халат скрипнул на спине. Он скорее выпрямился, распахнул полы, оглядел себя воровато и остался недоволен: мослат, кожа в пупырышках от холода или страха, бесцветные волоски разбродно росли на ногах и на груди.

Книжки касались все больше непонятных ему, юридических дел. «Вот уж не подумал бы, что она какое-то отношение имеет к судам...»

Среди учебников и наставлений по законодательству

обнаружилась тохонькая, зачитанная книжка в самодельной обложке.

«Старые годы», — вслух прочел Борис. Прочел и как-то даже сам себе не поверил, что вот стоит он в белеенькой, однооконной комнатке, на нем халат с пояском. От халата и от кровати исходит дразнящий запах. Ну, может, и нет никакого запаха, может, блазнится он. Тело не чувствовало халата после многослойной зимней одежды, как бы сросшейся с кожей, и Борис нет-нет да и пошевеливал плечами.

Все еще позванивало в голове, давило на уши, ну-дило внутри. «Поспать бы!» — глядя на манящую чистоту кровати, зевнул Борис и скользнул глазами по книжке. «Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное...» — Борис изумленно уставился на буквы и, уже с наслаждением, вслух повторил начало этой старинной, по-русски жестокой и по-русски же слезливой истории.

Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что он в третий раз повторил начальную фразу, дабы услышать себя и удостовериться, что все так оно и есть: он живой, по телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка, которую можно читать и слушать самого себя. Как будто опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал слова из книжки и не понимал их, а только слушал, слушал.

— С кем это вы тут?

Лейтенант смотрел на Люсю издалека.

— Да вот на Мельникова-Печерского напал, — отозвался он наконец, — хорошая какая книжка.

— Я ее тоже очень люблю, — Люся вытирала руки холщовой тряпкой. — Идите, мойтесь. — Повязанная платком, она снова сделалась старше, строже, и глаза ее опять загадочно отделились.

За русской печкой, в закутке, как и во множестве украинских хат, была лежанка. На ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, оставила баночку со своедельным жидким мылом, мочалку, ведро и ковшик.

— Крещайся, раб божий! — сказал Борис, дождавшись, когда Люся прикроет дверь в переднюю, и, едва не опрокинув корыто, с трудом уселся в него.

Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как сходит с него не грязь, а толстая кожа. Из-под кожи этой, грубой и соленой, обнажается молодое, ссудо-роженное усталостью тело и так оно высветляется, что даже кости слышны делаются, душа жить начинает, а по телу медленно всплывает истома, качает корыто, будто корабль на волне, и несет, несет куда-то, в сладостную тихую даль полусонного лейтенантишку.

Он старался не плескаться на пол, не обшлепать стену и печку. И все же обшлепал и стену, и печку, и наплескал на пол.

В запечье сделалось совсем душно, потянуло отсыревшей глиной, назьмом, и в носу сделалось щекотно. Вспомнилось Борису, как глянулось ему, когда дома перекладывали печь. Виделось все до мелочей. Дома все перевернуто, разгромлено — наступала вольность на несколько дней: бегай сколько хочешь, ночуй у соседей, ешь чего придется и когда придется. Мать, явившись с уроков, брезгливо корчила губы, гусиным шагом ступала по мокрой глине, ломи кирпича. Весь ее вид выражал нетерпение, досаду, и она поскорее скрывалась в горнице, разя отца взглядом.

Отец, тоже умаянный в школе, виновато подвязывался мешком и включался в работу. Печник одобрял его, говоря, вот, мол, интеллигент, а грязного дела не чуждается. Отец же поглядывал на дверь горницы и

заискивающе предлагал: «Детка, ты, может быть, в столовой покушаешь?..»

Ответом ему было презрительное молчание.

Борис таскал кирпичи, месил глину, путался под ногами у мужиков и, грязный, мокрый, возбужденно звал: «Мама! Смотри, уж печка получается!..»

А она и в самом деле получалась: из груди кирпичей, из глины выросло сооружение — зевастое чело, глазки печурок, даже бордюрик возле трубы.

Печку наконец затопляли, и работники сосредоточенно ждали — что будет? Нехотя, с сипом выбрасывая поначалу дым в широкую ноздрю, разгоралась печка. Еще темная, чужая, она постепенно оживлялась, начинала шипеть, пощелкивать, стрелять искрами на шесток и обсыхать с чела, делаясь пестрой, как корова, становясь необходимой и привычной в доме.

На кухонном столе отец с печником распивали поллитровку — для подогрева и разгона печи. «Эй, хозяйка! Прймай работу!» — требовал печник.

Хозяйка на призыв не откликнулась. Печник обиженно совал в карман скомканные деньги, прощался с хозяином за руку и, как бы сочувствуя ему и поощряя в то же время, кивал на плотно затворенную дверь: «Я б с такой бабой дня не стал жить!»

В какой-то далекой, но вдруг приблизившейся жизни все это было. Борис подтирал за печкой пол и не торопился уходить, желая продлить нахлынувшее — этот кусочек из прошлого, в котором все теперь было исполнено особого смысла и значения.

Отжав тряпку под рукомойником, он сполоснул руки и вошел в комнату.

Люся сидела на скамье, отпарывала подворотничок, как бы спаявшийся с гимнастеркой плесенно-серыми напылами.

— Воскрес раб божий! — с деланной лихостью от-  
рапортовал Борис, слабо надеясь, что в подворотничке  
гимнастерки ничего нету, никаких таких зверей.

Отложив гимнастерку, Люся теперь уж открытым  
взглядом, по-матерински близко и ласково глядела на  
него. Русые волосы лейтенанта, волнистые от природы,  
взялись кучерявинками. Глаза ровно бы тоже отмы-  
лись. Ярче алела натертая ссадина на худой шее. Весь  
этот парень, без единого пятнышка на лице, с безгреш-  
ным взглядом, в ситцевом халате, до того был сму-  
щен, что не угадывался в нем окопный командир.

— Ох, товарищ лейтенант! Не одна дивчина поте-  
ряет голову из-за вас!

— Глупости какие! — отбился лейтенант и тут же  
быстро спросил: — Почему это?

— Потому что потому, — заявила Люся подни-  
маясь. — Девчонки таких вот мальчиков чувствуют и лю-  
бят, а замуж идут за скотов. Ну, я исчезла! Ложитесь  
с богом! — Люся мимоходом погладила его по щеке, и  
было в ласке ее, и в словах какое-то снисходительное  
над ним превосходство. Никак она не постигалась и не  
улавливалась. Даже когда смеялась — в глазах ее ос-  
тавалась недвижная печаль, и глаза эти так отдельно  
и жили на ее лице своей строгой, сосредоточенной и  
всепонимающей жизнью.

«Но ведь она моложе меня или одногодок?» — по-  
думал Борис, юркнув в постель, однако дальше думать  
ничего не сумел.

Беки сами собой налились тяжестью, сон медведем  
навалился на него.

\* \* \*

Ординарец комроты Филькина, наглый парень, гор-  
дящийся тем, что сидел два раза в тюрьме за хулиган-

ство, ныне пододевшийся в комсоставский полушубок, в чесанки и белую шапку, злорадно растолкал Бориса и других командиров задолго до рассвета.

— Ой! А я выстирать-то не успела! Побоялась идти ночью по воду на речку. Утром, думала... — виновато сказала хозяйка и, прислонившись к печи, ждала, пока Борис переоденется в комнате. — Вы приходите еще, — все так же виновато добавила она, когда Борис явился на кухню. — Я и выстираю тогда...

— Спасибо. Если удастся, — сонно отозвался Борис и прокашлялся, подумав, что это она старшины побоялась. С завистью глянув на мертво спящих солдат, он кивнул Люсе головой и вышел из хаты.

— Заспались, заспались, прапоры! — такими словами встретил своих командиров Филькин. Он когда бывал не в дуге, всегда так обидно называл своих взводных. Иные из них сердились, в пререкания вступали. Но в это утро и языком-то ворочать не хотелось. Комвзводы хохлились на стуже, пряча лица в поднятые воротники шинелей. — Э-эх, прапоры, прапоры! — вздохнул Филькин и повел их за собой из уютного украинского местечка к разбитому хутору, навстречу занимающемуся рассвету, сталисто отсвечивающему на дальнем краю неба, мутно проступавшему в заснеженных полях.

Комроты курил уже не сигареты, а крепкую махру. Он, должно быть, так и не ложился. Убивая крепким табаком сон. Он вообще-то ничего мужик, вспыхивает, как береста, трещит, копоть поднимать любит большую. Но и остывает быстро. Не его же вина, что немец не сдаётся. Засел по оврагам да в полях. А чего держится? Зачем? Сдавался бы и не дрог на холоду... И комроты спал бы, и прапорам своим спать бы дал, а хозяйка постирала бы имущество. Какая-то она странная...



— Кемаришь, Боря?

Борис вскинулся. Надо же! Научился на ходу дрыхать... Как это у Чехова? Если зайца долго лупить, он спички зажигать научится...

Совсем светло сделалось. И вроде бы еще холоднее. Все нутро от дрожи вот-вот рассыплется. «Душа скулит и просится в санчасть!..» — рыдающими голосами пели когда-то земляки-блатняки, в родном сибирском городке всегда изобильно водившиеся.

— Видишь поле за оврагом и село? — спросил Филькин и сунул Борису бинокль. — Пора бы уж своим обзавестись... Последний опорный пункт фашистов, товарищи командиры, — показывая рукой на село за полем, продолжал комроты, держа на отлете бинокль с холодными ободками. Борис ждал, чего он еще скажет. — По сигналу ракет — с двух сторон!..

— Опять мы?! — зароптали взводные.

— И мы! — снова разъярился комроты Филькин. — Нас что, сюда рыжики собирать послали, что ли? У меня чтоб через час все на исходных были! И никаких соплей! — Филькин сурово поглядел на Бориса. — Бить фрица, чтоб у него зубы крошились!.. Чтоб охота воевать отпала...

Прибавив для выразительности крепкое слово, Филькин выхватил у Бориса бинокль и поспешил куда-то, выбрасывая из перемерзлого снега кривые казачьи ноги.

Взводные вернулись в проснувшееся уже местечко и энергично, как велел командир роты, выжили солдат из тепла во чисто поле.

Солдаты сперва ворчали, но потом залегли в снегу и примолкли, пробуя еще дремать, кляня про себя немцев — чего еще ждут, проклятые? Чего вынюхивают? Богу своему окаянному о спасении молятся, что ли?

Да какой же тут бог поможет, когда окружение и силы военной столько, что и мышь не проскочит из кольца...

За оврагом взвилась красная ракета, затем серия зеленых. По всему хутору зарычали танки, машины. Колонна на дороге рассыпалась, зашевелилась. Сначала медленно, ломая остатки плетней и худенькие сады по склонам оврагов, врассыпную ползли танки и самоходки. Затем, будто сбросив путы, рванулись, пустив черные дымы, заваливаясь в воронках, поныривая в сугробах.

Ударил артиллерия. Зафукали из снега эрэсы. Вытащив пистолет со сношенной воронью, метнулся к оврагам комроты Филькин. Бойцы поднялись из снега, двинулись следом за ним. Возле оврагов танки и самоходки застопорили, открыли огонь из пушек. От хутора с воем полетели мины, и Филькин осадил пехотинцев, велел ложиться. Обстановка все еще не ясная. Многие огневые не перемещены. Связь снегом похоронило. Минометчики и артиллеристы запросто лупанут по башкам, а после каяться будут, магарыч ставить, чтоб жалобу на них не написали.

И в самом деле вскоре чуть не попало. Те же гаубицы-полуторасотки, которые в ночном бою бухали за спиной пехоты, начали месить овраги и раза два угодили уж поверху. Бойцы отползли к огородам, к уроненным плетням, заработали лопатами, окапываясь. Мерзло визжа гусеницами, танки начали обтекать овраги, выползли к полю, охватывая его с двух сторон. Пехота раздробленно постреливала из винтовок и пулеметов.

\* \* \*

Ветер вовсе утих. Снег не кружило, и на небе с одной стороны объявилась мутная луна, тоже как будто

издолбленная осколками, а с другой пробилось сквозь небесную муть заиндевелое, сумрачное солнце.

«И почему это в самые лихие для людей часы в природе что-нибудь...» — Борис не успел довершить эту мысль. Филькин совал ему бинокль. Совал молча. Но лейтенант уже и без бинокля видел все.

Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, помеченную редкими деревцами, выпала туча народа — не стало видно снега. Из оврагов тоже вываливали и вываливали волна за волною толпы людей и бежали навстречу тем, что прибоем накатывали из села. Между ними сужалось и сужалось белое пространство. Казалось, саранчю заполнилась земля. С двух сторон, давя саранчу, на всех скоростях шли танки. И вдруг сверкнуло игрушечно, покатилося в клубах снега что-то вихреватое, неустойчивое.

«Кавалерия!» — ахнул Борис, и у него подпрыгнуло, задергалось сердце, как в детстве, когда он видел стремительную атаку конницы в кино. Не доводилось ему видеть конных атак наяву, ведь конники в этой войне атаковали спешившись. «Значит, совсем плохи дела у немцев», — решил Борис.

Закружило, завертело на поле. Снег запылел, поднялся. Дымно от танков было. Топот коней, рокот танков, людские вопли доносило до хутора. Пехотинцы сначала кричали, ярились, даже рвались к оврагам, но унялись и они.

И за оврагами на поле тоже все унялось. Танки ворвались в село. Две машины кострами горели на поле, пустив большой дым в небо, к солнцу, все больше яснее. Кавалерия настигала разбегающиеся табуны противника. Сыпалась пальба, уже торопливая, бестолковая, словно бы на охоте по ныряющему подранку.

— Вот и все! — почему-то шепотом сказал комроты Филькин. Сказал, удивился, должно быть, своему шепоту и зычно гаркнул: — Все, товарищи! Капут группировке!

Пафнутьев услужливо застрочил из автомата в небо, запрыгал и простуженным дискантом выдал «ура». Не поддержали его солдаты.

— Чё вы? Охренели?! Победа ж! Наголову фашист!..

Бойцы подавленно смотрели на поле за оврагами, уже истерзанное, испятнанное, черное. Народ возле хутора был все больше пеший, рядовой, и каждый сейчас говорил сам себе: «Не дай бог попасть в такое вот...»

Филькин начал угощать всех бойцов без разбора душистыми трофейными сигаретами, балагурил, развлекая народ, молотил кулаком по спинам, сулился прислать кухню, полную каши, и водки раздобыть не по наличию людей, а по списочному составу и к орденам представить всех до единого — герои! Он бы еще много чего наобещал. Но его позвали к телефону.

Вернулся Филькин из бани не такой уж веселый. Выгрызая из обгорелой кожуры картофельную мякоть, он повернулся карманом к Борису, и когда тот достал себе обугленную картофелину, мотнул головой и усмехнулся:

— Это вместо обещанной каши. Оставь старшину за себя. Пойдем получать указания. Нет нам покоя и скоро, видимо, не будет. — Он вытер руки о полушубок, полез за кисетом. — Возьми Корнея или пузырька своего. Мой кавалер опять куда-то провалился! Ну он у меня дофорсит! Я его откомандирую к вам. Ты ему лопату повострее, ружье побольше выдашь, а котелок...

— Это мы можем, это — пожалуйста!

Борис взял и Корнея Аркадьевича, и Шкалика. Он

хотел обойти поле, двинулся было по окраине хутора, но Филькин ухнул до пояса и уже за оврагом, выбирая снег из карманов, вяло ругался:

— Войну на войне все равно не обойдешь...

На поле, в ложках, в воронках, и особенно возле изувеченных деревьев кучами лежали убитые, изрубленные, подавленные немцы. Попадались еще живые, изо рта их шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по истолченному, опятнанному кровью полю.

Обороняясь от жалости и жути, Борис зажмурился глазами: «Зачем пришли сюда?.. Зачем? Это наша земля! Это наша родина! Где ваша?»

Точно перешибленный в пояснице, Корней Аркадьевич оперся на дуло винтовки:

— Неужели еще повторится такое. Неужели это ничему их не научит? Достойны тогда своей участи...

— Не вякал бы ты, мудрец вшивый! — процедил сквозь зубы комроты Филькин.

Борис черпал рукавицею снег, кормил им позеленевшего Шкалика.

— Боец! — кривился, глядя на Шкалика, комроты Филькин. — Ему бы рожок с молочком!

На окраине села, возле издолбленной осколками, пробитой снарядами колхозной клуни, крытой соломой, толпился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали ногами тонконогие кавалерийские лошади, запряженные в крестьянские дровни. Приблизившись, пехотинцы различили — народ возле клуни толпится не простой: несколько генералов, много офицеров, и вдруг обнаружился командующий фронтом.

У Бориса похолодело в животе и потную спину скорбило: командующего, да еще так близко, он никогда не видел. Взводный начал торопливо поправлять ре-

мень, развязывать тесемки шапки. Пальцы не слушались его, дернул за тесемку, и с мясом оторвал ее. Он не успел заправить шапку ладом. Майор в желтом полуботинке, с португеей через оба плеча, поинтересовался — кто такие?

Комроты Филькин доложил.

— Следуйте за мной! — приказал майор.

Командующий и его свита посторонились, пропуская мимо себя мятых, сумрачно выглядевших солдат-окопников. Командующий прошелся по ним быстрым взглядом и отвел глаза. Сам он хотя и был в чистой долгополой шинели, в папахе и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат, только что вылезших с переднего края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго и горестно сжатым губам. Лицо его было воскового цвета, подтаявшее будто. И в старческих глазах, хотя он был еще не старик, далеко не старик, угадывалась безмерная усталость. В свите командующего слышался оживленный говор, смех, но командующий был сосредоточен на своей какой-то невеселой мысли.

По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в штрафную, а вразумлял так:

— Вы поднимитесь на цыпочки — ведь Берлин уже видно! И я вам обещаю: как возьмем его — пейте сколько влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! Заслужили! Только дюжьте, дюжьте...

Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету.

На снопах блеклой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал мертвый немецкий

генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьем на погонах и на воротнике. В углу клуни, на опрокинутой веялке, накрытой ковром, стояли телефоны, походный термос, маленькая рация с наушниками. К веялке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами и на нем — скомканный клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль.

Возле мертвого генерала стоял на коленях немчик в кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил еще Швейк, только с меховыми наушниками. Он плакал, ладонью стирая пыль с лица и мундира генерала.

Здесь же толклась переводчица в красиво сидящем на ней полушубке, в меховой шапке, из-под которой выбивались крупные завитки кудрей. Она что-то говорила старенькому солдату по-немецки, но, судя по всему, слова не доходили до него.

В разжавшейся, уже синей руке генерала, на скрытом пальце висел пистолет. И не пистолет, а этакая дамская штучка, из которой вроде бы только мух и стрелять. И кобура на поясе была игрушечная, с гербовым тиснением. Однако из этого вот пистолета генерал застрелил себя. На груди его, под орденскими колодками и знаками различий, давленной клюквиной расплылось пятнышко. Генерал был в очках, худ, с серым, будто инеем взявшимся, лицом. В полуоткрытом рту его виднелась вставная челюсть. Очки не снялись даже после того, как он упал. Седую щетку усов под носом прочертила полоска крови, тоже припорошенная пылью. Косицы на лбу генерала провалились, обнаружив угловатый череп с глубокими залысинами. Шея выше стоячего воротничка мундира была в паутине морщин и очернившихся от смерти жилок. Ключком впился в нее стальной крючок.

— Командующий группировкой, — подсказал майор. — Не захотел бросать своих солдат, а рейхскомиссар с высшим офицером удрал, сволочь! Разорвали кольцо на минуты какие-то — и в танках по своим солдатам, подлецы!.. Неслыханно!

— Таранили и нас — не вышло! — не к месту похвастался Филькин и смешался.

Майор с интересом посмотрел на него, собираясь что-то спросить, но в это время за клуней загрохотал танк и просигналила машина.

Майор велел нести генерала. Борис из-под лба глянул на щеголевато одетого, чисто выбритого офицера. «Фронтовой барин! Надорваться опасается! Вся грязную работу нам...»

Филькин высвободил из руки генерала пистолет и протянул его майору. Глаза майора забегали: ему, видеть, хотелось взять пистолет генерала и похвастаться перед штабными девицами таким редкостным трофеем. Но тут же истуканом стоял хмурый, костлявый солдат, щенком дрожал зеленый парнишка в горбатой шинели и с откровенной неприязнью глядел лейтенант с оторванной тесемкой у шапки — голодный, злой лейтенантишко.

— Да на кой мне такая орудья?! — небрежно отмахнулся майор, — отдай вон ему — в память о благодетеле. — Майор брезгливо сморщился, помогая старикашке подняться с колен.

Со щелчком вынув обойму, Филькин запустил ее в угол, за вейлку, вспугнув оттуда стайку затаившихся воробьев, и, как бабку, подкинул пистолет к ногам старика немца. Тот не брал пистолет, пятился, и тогда девушка сказала ему что-то бархатисто-чувствительное. Старик клюнул носом в поклоне, цапнул сухими и цепкими, как у птицы, лапками пистолетик, прижал к



груди, будто икону, — «Данке! Данке шен», — но тут же спохватился; догнал пехотинцев, неловко тащивших деревянное тело генерала, и стянул с головы швейковскую пилотку. Волосы на нем росли клочковато, весь он, как старинная плюшевая вещица, будто молью побитый. Суется вокруг стрелков, что-то наговаривал выходец этот из пыльных столетий, пытался помогать нести господина своего. По рыхлым щекам старика прыгивали слезы, и во всем облике его было безмерное, неподдельное горе.

Смекалистые, бесстрашные фронтовые воробы вспорхнули на веялку и нырнули в нее, как только люди удалились.

Возле клуни ждал студебеккер с открытым бортом, прицепленный к танку. Солдаты прицелились затолкнуть покойника в кузов, но старенький немец, петушком подпрыгивая и ловясь за доски, лез в машину. Майор посадил его, и солдат снова забормотал что-то благодарственное, заискивающее. Приняв бережно голову генерала в руки, он волоком подтащил покойника к кабине, ногою раскатал пустые артиллерийские гильзы и, подсунув свою пилотку, опустил на нее голову генерала. Девушка-переводчица бросила высокий нарядный картуз. Солдат, как вратарь, ловко его изловил, упав на одно колено.

— Данке шен, фройляйн! — не забыл он учтиво поклониться переводчице, надев картуз на генерала. Тот из жалкого старикашки сразу же превратился в важного, сановитого мертвеца.

Командующий фронтом был уже возле саней, в головке которых на коленях стоял пожилой автоматчик, туго намотав вожжи на кулак.

— Разумовский! — позвал командующий, и майор, руководящий погрузкой генерала, метнулся к саням.

— Су-шуть, та-рищ рал! — как на параде, рывкнул майор.

Старикашка немец поднял голову, молитвенно сложив птичьи лапки, закатил глаза в небо, вежливо прося тишины.

Командующий с досадою, нетерпеливо шмыгнув носом и повелительно приказал:

— Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми воинскими почестями: домовину, салют и прочее. Хотя прочего не можем. — Командующий отвернулся, опять пошмыгал носом. — Попов на фронте не держим. Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид.

Кругом сдержанно посмеялись.

Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример поведения. Однако в последних словах командующего просквозило накипевшее злорадство, и понял Борис — какая-либо игра в благородство после того, что произошло вчера ночью и сегодняшним утром в поле, за этим селом, неуместна. Командующий, видать, давно отучен войной притворяться, и выполнял он чей-то приказ, и все это было ему не по нутру, и много других забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что оторвали от этих дел. Мертвых и плененных генералов он, должно быть, навидался вдосталь, и надоело ему на них смотреть.

Чего он приволокся, этот чужеземный генерал в заснеженную Россию? В эту колхозную клуню, на кукурузные снопы? Почему не принял капитуляцию? Стратег! Душа его, видать, настолько уж отутовела, что он разучился ценить человеческую жизнь. Долг? Страх? Равнодушие? Что руководило им? Почему он не застрелился раньше? Если этот сановитый немец не мог достойно жить, то мог бы ради солдат, соотечественников

своих, ради детей их, наконец, умереть раньше, умереть лучше. Он же знал, старый вояка, что группировка обречена, что надеяться на чудо и на бога — дело темное, что у побежденных завоевателей не бывает даже могил и все, что ненавистно людям, будет стерто с земли. Чему он служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за людей — жить им или умирать?

Переводчица охотно, даже с умилением перевела приказ командующего о погребении генерала с почестями, и старенький солдат, поднявшись в кузове, подобострастно начал кланяться командующему, прижав к животу свои птичьи лапки, и твердить все ту же фразу, намертво засевшую в холуйской голове:

— Данке! Данке шен, герр генерал...

Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и, по-крестьянски бережно подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях. Что-то взерошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем невоинственной спине командующего и даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, — виделась человеческая незащищенность. Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, полозьями обнажало трупы и остатки трупов.

Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчее к селу, где уже рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки. И когда за сугробами скрылись лошади и тоскливая фигура командующего, все долго и подавленно молчали.

— С ординарцем-то что делать — не спросили? — прервала молчание переводчица и округлила красивые, чуть подведенные глаза.

— А-а, пусть остается при своем хозяине, — раз-

драженно уронил майор Разумовский и закрыл борт кузова. — Не мне же обмывать этого красавца! — и повернулся к пехотинцам. — Можете быть свободны, ребята! Спасибо!

— Не на чем! — ответил за всех Филькин и потопал со своим воинством отыскивать командира полка.

Танк с прицепленной к нему машиной скоро их обогнал. Шофер машины, которого, видать, сорвали с рейса, рывками крутил руль, закусивши в углу рта мокрую сигарку, и чего-то сердито говорил майору Разумовскому, мотая головой на кузов, где громыхали, катаясь, медные артиллерийские гильзы и старикашка немец оборонял от них своего покойного господина. Майор что-то ответил шоферу и приветливо поднял руку в кожаной перчатке, прощаясь с пехотинцами, сошедшими в целик. Переводчица, стоявшая в кузове, даже глазочком не зацепилась на них, и Филькин звучно плюнул вслед машине:

— Лахудра! — Шагнул в колею, пробитую танком, он брезгливо скривился: — Вонь от этого генерала или от денщика! В штаны они все наклали, что ли?

Никто не поддержал разговора. Усталость, всегда наваливающаяся после боя, клонила всех в забытье и сон. Неодолимо хотелось лечь тут же в снег, скорчиться, закрыть ухо воротником шинели и выключиться из этой жизни, из стужи, из себя выключиться.

\* \* \*

А в хуторе людно и тесно. Набились туда толпы пленных. Среди них сновал Мохнаков, оживленный, со сдвинутой на затылок шапкой.

— Старшина! — звонко крикнул Борис.

Мохнаков неохотно вылез из гущи пленных.

— Ну, что ты орешь? — зашипел он. — Перемерзли все, как псы!

— Отставить!

— Отставить так отставить, — потащился за ним старшина и, думая, что у лейтенанта все еще со слухом не в порядке, выругался: — Мямля! Откуль и взялся на нашу голову?!

Одно желание было у Бориса: скорее уйти из этого расхлопанного хутора, от изуродованного, заваленного трупами поля подальше и увести с собою остатки взвода.

Но не все еще перевидел он сегодня.

Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанном глиной. Лицо у него будто из чугуна отлито — черно, костляво, с воспаленными глазами. Он стремительно шел улицей, не меняя шага, свернул в огород, где сидели вокруг подожженного сарая пленные, жевали что-то и грелись.

— Отдыхаете культурно? — пророкотал солдат и начал срывать через голову ремень автомата. Сбил шапку на снег, автомат запутался в башлыке маскхалата, он рванул его, пряжкой расцарапал ухо.

Немцы отвалились от костра, парализованно наблюдая за солдатом.

— Греетесь, живодеры! Я вас нагрею! Сейчас, сейчас!..—солдат поднимал затвор автомата срывающими пальцами. Борис кинулся к нему и не успел. Брызнули пули по снегу, и один простреленный немец забился у костра, выгибаясь дугою, а другой рухнул в огонь. Как вспугнутые вороны, заорали пленные, бросились врассыпную, некоторые почему-то удирали на четвереньках. Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его землю, орал, скаля зубы, что-то дикое, лесное и слепо жарил куда попало очередями.

— Ложись! — Борис упал на одного из пленных, вдавил его в снег.

Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в снег. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, драл на груди маскхалат.

— Маришку сожгли-и-и! Селян моих в церкви сожгли-и-и! Мамку! Я их тыщу... Тыщу кончу! Гранату дайте! Резать буду, грызть!

Мохнаков придавил солдата коленом, тер ему лицо, уши, греб снег рукавицею в перекошенный рот. Солдат плевался, пинал старшину.

— Тиха, друг, тиха!

Солдат перестал биться, сел и, озираясь, сверкал глазами, все еще накаленными после припадка. Потом разжал кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашелся в беззвучном плаче. Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул ее на голову солдата и, протяжно вздохнув, похлопал его по спине.

В ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя — свой это или чужой.

И лежали раненые вповалку — и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, плакали, а иные курили, ожидая отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом и наплывающими под глаза синяками послонявил сигарку, прижег и засунул ее в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу.

— Как теперь работать-то будешь, голова? — невятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, замотанные бинтами и портянками. — По-

знобился весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою! Хюрер? Хюрер, он накормит!..

В избу клубами вкатывался холод, сбегались и вползали раненые. Они тряслись, размазывали слезы и сажу по ознобелым лицам.

А бойца в маскхалате увели. Он брел спотыкаясь, низко опустив голову, и все так же затажно и беззвучно плакал. За ним с винтовкой наперевес шел, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой прожженной шинели.

Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич включился в дело, и легкораненый немец, должно быть из медиков, тоже услужливо и сноровисто начал обихаживать раненых.

Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому:

— Не ори! Не дергайся! Ладом сиди! Кому я сказал, ладом!

И раненые, хоть наши, хоть чужие, понимали его, послушно, как в парикмахерской, замирали, сносили боль, закусывая губы.

Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черенке хвата, и делал козью ножку из легкого табака.

Топилась щелястая, давно не мазанная печка. Горели в ней обломки частокола и ящички из-под снарядов. Дымно было в избе и людно.

Врач, из тех вечных «фершалов», что несут службу в лесных деревушках или по старым российским городишкам, получая малую зарплату, множество нагоняев от начальства и благодарностей от простолюдья,

кoему он вырезал грыжи, драл зубы, спасал баб после самоабортов, боролся с чесоткой и трахомой, врач этот высился над распластавшимися у его ног людьми, курил, помаргивая от дыма, безразлично глядя в окно, и ничего его тут вроде бы не касалось.

Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы, и когда вышли из избы, он, вытирая снегом руки, завел:

— Вот чем она страшна! Вот чем! В крови по шею стоит человек, а глазом не моргнет...

— Ничего вы не поняли! Зудите, зудите... — Борис чуть было не сказал: врачу, мол, этому потруднее, чем тебе, Ланцов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она репьем за другие души. Но он вспомнил и сказал совсем о другом.

— Мохнаков где?

— Умотал куда-то, — пряча глаза, отозвался Шкалик.

«Вот еще беда!» — Борис вытер мокрые руки о полу шинели, потащил из кармана рукавицы.

— Идите во вчерашнюю избу, а то ее займут. Я скоро...

В оврагах, сверху похожих на сваленные ветвистые ели, все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. В перемешанной глине и в снегу валялись убитые кони и люди. Оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки, книжки, обрывки газет и листовок, противогазы, очки, шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки, даже пузатый тульский самовар лежал на боку, иконы с русскими угодниками и подушки в деревенских латаных наволочках — все разорвано, раздавлено, побито, все как после светопреставления — и дно оврагов походило на свежую лесосеку, где лес порублен, увезен, остались ломь, пенья, обрубки.



К убитому немецкому офицеру вел след новых, во-  
внутрь стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо  
покойного и пьяно побежал вниз по оврагу, уже не ос-  
танавливаясь возле выкорчеванных трупов.

В глубине оврага, забросанная комьями глины, ле-  
жала убитая лошадь. Во чреве ее рылась собака, вжи-  
мая хвост в облезлые холки. Рядом прыгала хромая  
ворона. Собака бросалась на нее, по-щенячьи тявкая.  
Ворона отлетала в сторону и ждала.

Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелой,  
с наборным, вяло болтающимся дорогим ошейником,  
был смутен и дик. Собака дрожала от холода или алч-  
ности. Длинными, примороженными, как капустные  
листья, ушами да дорогим ошейником она еще напо-  
минала пса редких кровей из какого-нибудь благопри-  
стойного европейского замка.

— Пошла! Цыть! Пошла! — затопал Борис и рас-  
стегнул кобуру.

Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в прова-  
лившийся зад, и уже не по-щенячьи затывкала, а рас-  
катисто зарычала, обнажив источенные зубы. Она ще-  
рилась и слизывала сукровицу с редких колючек, об-  
метавших морду, и дрожала обвислой голой кожей, под  
которой было когда-то барски-холеное тело. Ворона, си-  
дя на козырьке оврага, чистила в снегу клюв.

Борис опасливо обошел собаку и, не переставая ог-  
лядываться, поспешил в глубь оврага. Ворона проводи-  
ла его поворотом головы и спорхнула вниз. Борис об-  
легченно снял руку с пистолета.

На Мохнакова лейтенант наткнулся за ближним по-  
воротом оврага, хотел закричать, но сведенные губы  
шевелились беззвучно. Старшина резко обернулся. Ли-  
цо его начало бледнеть. Он следил за рукой лейтенан-  
та — не полезет ли тот в кобуру. Но Борис не двигал-

ся, даже не моргал. Все так же резиново шевелились его обескровленные губы да горло в пупырышках, зачерненных потом и грязью, дергалось, как у линялой птицы.

— Что ты, что ты? — подошел и похлопал Бориса по груди старшина.

— Не прикасайся ко мне!

— Не прикасаюсь, не прикасаюсь, — отступил старшина, прикрывая будничностью тона неловкость и страх. — Откуда тебя черти взяли? Бродишь, понимаешь...

Взводный переломился в пояснице и, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к стене оврага, привалился к мерзлой, пресно пахнущей земле. Горло его порезанно дергалось, выжимая клейкую слюну. С теменю в глазах стоял он и отходил от оморочи, вытирая рукавом губы. Потом глянул почему-то на небо, различил свет и пошел на него. Но все колыхалось перед ним, и он упал в воронку, стукнулся о мерзлый ком, и от боли очнулся.

Два окоченевших эсэсовца сидели в воронке и в упор смотрели на него судачьими глазами.

Мохнаков выволок Бориса из воронки, плеснул из фляги чего-то горячего и этим горячим словно бы прочно заткнул дыру в обмерзшем нутре Бориса. Что-то скребло его по груди, отдавалось в ушах — старшина ножом очищал его шинель.

— Не... не... не...

— Экой ты, ей-богу! — старшина с досадою щелкнул трофейным ножом. — Война ведь это — не кино! Тут, видал? Голый голого... и кричит: «Рубашку не порви!» — Принюхавшись по-собачьи, старшина совсем уж обыденно закончил: — Славяне борова палят! Пищу варят, бани топят... Живой о живом... А ты понять

этого не умеешь. — Он громко высморкался, достал кiset. Кисета у него оказалось два: один красный, из парашютного шелка, другой — холщовый, с кисточками, вышитый кривыми буквами. Какие-то далекие и милые девчушки посылали такие кисеты на фронт с трогательными надписями: «Давай закурим!», «На вечную память и верную любовь!», «Любовь моя хранит тебя...»

— ...Тебе уже двадцатый, — напрягся слухом Борис, — но ты еще ни шиша в бабах не тямлешь. Немцам: и бордели, и отпуска! А у нас...

«Чего это он? — снова заставил себя слушать Борис, — а-а, про баб опять...»

— ...Путние-то не дают. Потаскушки. Им все одно — немец ли, русский ли...

— К потаскушкам и приставай бы! Зачем же к честной женщине лезешь? Совсем озверел?

— Затмилось в башке. Напился же!.. Столько побито, сведено народу, чего, думал, какая-то бабенка... А ты бы вправду застрелил меня? — испытующе, сбоку глядел Мохнаков на лейтенанта.

— Да!

Старшина скрипуче крикнул, затаился сигаркой, выпустил себе на глаза дым.

— Светлый ты парень! Почитаю я тебя, — Мохнаков пальцами раздавил сигарку, вытер руку о валежок. — За то почитаю, чего сам не имею... А то бы... Э-эх, не понять тебе. Шибко ты молод... Я же весь истратился на войне. Весь. Сердце истратил... И не жаль мне никого. Меня бы палачом над немецкими преступниками. Я бы их!

Чувствуя себя в чем-то виноватым, Борис сдавленно произнес:

— Ты вот что... тебе бы подлечиться. Может, попросить полкового врача?..

— Ду-ура! Не суйся уж, куда тебя не просят!..

— Пойдем отсюда, Мохнаков, пойдем, а?

По слепому отростку оврага, до краев забитому ярко-белым рыхлым снегом пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу, и во всей его, с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, и крутом медвежьим загривке было что-то мрачное. В глуби его, как в тайге, в которой он родился, жил, бил зверя, угадывалось затаенное и беспощадное.

Борис слушал, как паровозно пыхтит Мохнаков, — и не верилось ему, не хотелось даже привыкать к мысли, что такого, диковинной силы человека можно потерять из-за какой-то пули или осколка, как это часто бывало на войне. Богатырь и умирать должен по-богатырски. Старшина начал отступать еще с границы, не однажды валялся в госпиталях, знал и голод, и холод, и окружения, и прорывы, но в плен не угодил. Везло, говорит, и, наверное, оттого везло, что он придерживался старинного правила русских воинов — лучше смерть, чем неволя.

Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи, которые часто бывают не нужны на войне, вредны фронтовой жизни. Он никогда не говорил о том, как будет жить после войны. Он мог быть только военным, умел только стрелять и ничего больше. Так думалось о нем теперь.

Борис уткнулся лицом в жестяную твердь полушубка старшины, открыл глаза.

Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за косогор, двигались по дорогам люди. Снежно и тихо вокруг до звона в ушах.

От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запорошенные снегом, валялись убитые ко-

ни. За хутором в полях и возле дороги скопища распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымилась кухни, и уже налажены были прожарки: бочки из-под бензина, под которыми пластал огонь, а в глухо накрытых бочках, на деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки на себя, а шинели, валенки и шапки — в бочку...

Миротворно постукивали движки. Буксовали машины. В полях чернели кляксы сгоревших скирд соломы. Возле густого бора, вздымающегося по склону некрутого косолюбка, стояли закрытые машины и палатки санрот, и здесь же показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Антоша Рыбкин, напевая песенки, запросто дурачил затурканных, суетливых врагов.

Зрители чистосердечно радовались удачам киношного вояки. Сами они находились на совсем другой войне.

Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченной реденькими столбами, провода на которых обкусаны, да и столбы где пошатнулись на бок, где и вовсе спилены на дрова.

Старшину и Бориса согнали на обочину дороги стубеккеры. В машинах плотно, один к одному, сидели замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем пленные. Все с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые...

— Ишь! — ругался Мохнаков, — фрицев на машинах, а мы пешком, хочь дома, хочь в плену, хочь бы и на том свете...

Вечер медленно опускался. Синь проступала по оврагам, и жилистой сделалась белая земля. Тени от столбов длинно легли в поля, а возле деревьев загустели. Даже в кювете настоялась синь. Ходили саперы со щупами и тоже были синие, бесплотные. Поля — в танковых и машинных следах, будто перепоясаны ремнями. Снег из края в край искрился. Радио по лесу слышалось. Тихими сумерками накрывало израненную, безропотную старуху землю.

Хозяйки дома не было. Солдаты все уже спали на полу. Дневалил Пафнутьев. Морда у него подозрительно раскраснелась, и ушлые глазки сияли возбужденно и лучезарно. Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал ему ложиться спать, а сам примостился у печка, да так и сидел, весь отсыревший изнутри, на последнем пределе усталости, и время от времени облизывал губы, шершавые, как еловая шишка. Ни двигаться, ни думать не хотелось, а только согреться и забыть обо всем на свете. Жалким и одиноким почему-то казался себе Борис, и рад был, что никто его сейчас не видит, — старшина снова остался ночевать в другой избе, а хозяйка по делам, видать, куда-то ушла. Кто она? И какие у нее дела могут быть, у этой одинокой и нездешней женщины.

Дрема накатывает, костенит холодом тело взводного. Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него. Не познанная еще, вялая мысль о смерти начинает червяком шевелиться в голове и не пугает, а, наоборот, как бы пробуждает любопытство внезапной простотой своей — вот так заснуть бы в безвестном местечке, в чьей-то безвестной хате, и от всего отрешиться. Разом, незаметно и навсегда...

Это было бы так хорошо...

«Что это я? Что за блажь? Какая дурь опять в го-

лову лезет?» — очнувшись, подумал лейтенант и ощупью, придерживаясь за стены, пробрался в маленькую, дальнюю комнатку. Не открывая глаз, он разделся, побросал амуницию куда-то во тьму и упал на низкую кровать.

\* \* \*

Никакие потрясения еще не могли отнять стремления молодого тела к отдыху и восполнению сил.

Длинный виделся ему сон: земля, залитая водою, без волн, без морщин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, и над нею — чистое-чистое небо. И небо, и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз и тянет вагоны, целый состав, и след, расходясь на стороны, растворяется вдаль. Море без конца и края, и небо, неизвестно где сливающееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды.

Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, ссыплются вместе с людьми, с печами, с нарами и солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится, и будет вода, небо, солнце — и ничего больше! Зыбкий мир, без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни.

Но тело приросло к чему-то, вкоренилось. Ощущением безнадежности и пустоты наполнено все вокруг. Усталые птицы, изнемогая в непрерывном полете, падали на крыши вагонов, громко бахали крыльями по железу. Их закруживало, бросало в двери, и они шаркались по вагону. Старшина Мохнаков гонялся за птицами, свертывал им головы и бросал под нары. «Хильфе! Хильфе!» — кричали птицы. Борис хватал Мохна-

кова за руки. «Жрать чего-то надо?! — отбивался от него старшина. — Приварок сам в руки валит!..» «Хильфе! Хильфе!» — хрипели птицы и, выскальзывая из вагона, беззвучно хлопали крыльями по воде...

Сон крутился на одном месте, и жутко было ожидание: вот-вот произойдет что-то. Борис занес ногу над пустотой, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, и замер, почувствовав на себе пристальный взгляд, потом вздрогнул, схватился за кровать и проснулся от этого взгляда.

Рядом стояла Люся.

— У вас горел свет, — заговорила она поспешно. — Я выстирала верхнее. Белье бы еще постирать... Я думала, вы не спите...

Он еще не вышел из сна и ничего не понимал. Когда он ложился спать, света не было, включили его, видимо, потом.

— Я думала, вы... — снова начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним склонившись, смотрела на него. Досмотрелась вот! Быстро-быстро, мешая русские и украинские слова, чтобы не дать себе остановиться, она продолжала: как хорошо, мол, что пришли снова те же военные ночевать. Она уж привыкла к ним. Жалко вот, не смогла их снова уговорить лечь в чистую половину. На кухне устроились...

А на улице морозно. Хорошо, что бои кончились... Еще лучше, если бы вовсе война кончилась... А солдаты где-то раздобыли сухих дров. Но сегодня они неразговорчивые, сразу спать легли, и выпивал только один этот пожарник-кум...

— Какой я сон видел!

Нет, он ее не слышал, не отошел еще ото сна, говорил сам с собою или за кого-то ее принимал.



— Страшный, да? Других снов сейчас не бывает... — Люся поникла головой. — Я думала, вы больше не придете.

— Почему же?

— Я думала, вдруг вас убьют... Стрельба такая была за рекой.

— Это разве стрельба? — отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток груди. Живой ручеек катился стремительно вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром. А рядом было ее лицо, с вытянутыми, смятенно бегающими глазами. Борис слышал, как кисточки кукольно-загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. Сердце взводного начало колотиться, укатываясь под гору. Приглушая разрастающееся в груди стучание и все ускоряющийся бег, он сглотнул слюну.

— Какая... ночь... тихая... — И минуту спустя, уже ровнее: -- Снилось, как мы по Барабинской степи на войну ехали... Степь, рельсы — все под разливом. Весна была. Жутко так... — Он чувствовал: надо говорить, говорить и не смотреть больше туда. Нехорошо это, стыдно. Человек забылся, а он уж и заподглядывал, и задрожал весь! — Какая ночь... глупый сон... какая ночь, тихая... — Голос его пересох, ломался, все в нем ломалось — дыхание, тело, рассудок.

— Война... — тоже с усилием выдохнула Люся. Что-то замкнулось и в ней. Слабым движением руки она показала — война откатилась, ушла дальше.

Глаза плохо видели ее, все мутилось, скользило и укатывалось куда-то на стучащих колесах. Женщина качалась безликой тенью в жарком, все сгущающемся пале, который клубится вокруг, испепеляя воздух в

комнате, сознание, тело... Дышать нечем. Все в нем сгорело. Одна всесильная власть осталась, и, подавленный ею, он совсем беззащитно пролепетал:

— Мне... хорошо... здесь... — и, думая, что она не поймет его, раздавленный постыдностью намека, он показал рукой: ему хорошо здесь, в этом доме, в этой постели.

— Я рада, — донеслось издали, и он так же издали, не слыша себя, откликнулся:

— Я тоже... рад... — И, не владея уже собой, сопротивляясь и слабея от этого сопротивления еще больше, протянул к ней руку, чтобы поблагодарить за ласку, за приют, удостовериться, что эта, задернутая жарким туманом тень, качающаяся в мерклом и как бы бредовом свете, — есть та, у которой стремительно катится вниз исток груди, и кружит он кровь и гремящее набатом сердце под ослепительно мерцающим загадочным телом. Женщина! Так вот что такое женщина! Что же это она с ним сделала? Сорвала, как лист с дерева, закружила и понесла, понесла над землею — нет в нем веса, нет под ним тверди... Ничего нет. И не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь до последней кровинки, до остатного вздоха, и ничего уж с этим поделать никто не сможет! Это всего сильнее на свете!

Далеко-далеко, где-то в глухом пространстве он нашел ее руку и почувствовал пупырышки под пальцами, каждую, даже не видимую глазом пушинку тела почувствовал, будто не было или не стало на его пальцах кожи и он прикоснулся голым нервом к ее руке. Дыхание в нем вовсе пресеклось. Сердце зашло в яростном бое. В совсем уж бредовую темень, в совсем горячий, все испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного.

Дальше он ничего не помнил.

Обжигающий просверк света ударил его по глазам, и он загнанно упал лицом в подушку.

Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял и ослепительно яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукой лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Ему так захотелось провалиться сквозь землю, сдохнуть или убежать к солдатам на кухню, что он даже глухо простонал.

«Так вот оно как! И зачем это? Зачем?» — Борис закусил до боли губу, ощущая, как отходит загнанное сердце и выравнивается разорванное дыхание. Никакого такого наслаждения он как будто и не испытал, помнил лишь, что женщина в объятиях почему-то кажется маленькой, и от этого еще больше страшно и стыдно. Вот если б все это забыть, сделать бы так, будто ничего не было, тогда бы уж он не посмел обижать женщину этими глупостями — без них вполне можно обойтись, не нужны они совершенно...

Так думал лейтенант и с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле навязчивый, всегдашний груз свалился с него, и тело как бы высветляется и торжествует, познав плотскую радость.

«Скотина! Животное!» — ругал себя лейтенант, но ругань отдельно существовала от него. В уме — стыд и смятение, а в тело льется благодное, сонное успокоение.

— Вот и помогла я фронту.

Борис покорно ждал, как после этих, внятно уроненных в тишину, слов женщина влепит ему пощечину, будет рыдать, кататься по постели и рвать на себе волосы. Но она лежала мертво, недвижно и от переносицы к губе ее катилась слеза.

На него обрушилась неведомая доселе слабость и

вина. Не знал он, как облегчить страдание женщины, которое так вот грубо, воспользовавшись ее кротостью, причинил ей. А она хлопотала о нем, кормила, поила, помыться дала, с портянками его вонючими возилась... И, глядя в стену, Борис повинился тем признанием, какое всем мужчинам почему-то всегда кажется постыдным.

— У меня... первый раз это... — И, подождав немного, совсем уж тихо: — Простите, если можете.

Люся не отзывалась, ждала как-будто от него еще слов или привыкала к нему, к его дыханию, запаху и теплу. Для нее он был теперь не отдаленный и чужой человек. Раздавленный стыдом и виною, которая была ей особенно приятна, он пробуждал женскую привязанность и всепрощение. Люся убрала слезу пальцем, повернулась к нему, сказала печально и просто:

— Я знаю, Боря... — И с проскользнувшей уемешкой добавила: — Без фокусов да без слез наш брат, как без хлеба... — легонько дотронулась до него, ободряя и успокаивая. — Выключи свет. — В тоне ее как бы проскользнул украдчивый намек.

Все еще не веря, что не постигнет его кара за содеянное, он послушно встал, прихватив одеяло и заплетаясь в нем, прошлепал к столу, поднялся, вывернул лампочку. А потом стоял в темноте, не зная, как теперь быть. Она его не звала и не шевелилась. Борис поправил на себе одеяло, покашлял и мешковато присел на краешек кровати.

Над домом протрещал ночной самолетик, и окно прочертило зеленым пятнышком. Низко прошел самолетик — не боится, летает.

За маленьким самолетиком тащились тяжелые, транспортные, с полным грузом бомб. А может, раненых вывозили. Одышливо, как лошадиное сердце на

подъеме, работали моторы самолетов, «везу-везу», — выговаривали.

Синеватый, рассеянный дальностью, луч запылился в окне, и сразу, как нарисованная, возникла криволапая яблоня на стеклах, а в комнате сделалось видно этажерку, белое что-то, скомканное на стуле, и темные глаза, прямо и укорно глядящие на взводного. «Что же ты?»

Нет, уйти к солдатам на кухню нельзя. А как хотелось ему сбежать, скрыться, однако вина перед нею удерживала его здесь, требовала раскаяния, каких-то слов.

— Ложись. — Обиженно и угнетенно, как ему показалось, произнесла Люся. — Ногам от пола холодно.

Он почувствовал, что ногам и в самом деле холодно, и опять послушно, стараясь не коснуться женщины, пополз к стене и уже собрался что-то вымучить, выжать из себя, как услышал:

— Повернись ко мне...

Она не возненавидела его, и нет в ее голосе боли, и раскаяния нет. Далеко и умело упрятанная нежность как будто пробуждалась в ее голосе.

«Как же это?..» — смятенно думал Борис. Стараясь не дотрагиваться до женщины, он медленно повернулся и скорее спрятал руки, притаился за подушкой, как за бруствером окопа, считая, что надо лежать как можно тише, дышать неслышно и тогда его, может быть, не заметят.

— Какой ты еще... — услышал Борис, и его насквозь прохватило жаром, — она придвигалась к нему. Люся подула Борису в ухо, потрепала пальцем это же ухо и, уткнувшись лицом в шею, попросила: — Разреши мне тут, — точно показала Люся рубец на шее, — разреши поцеловать тут, — и, словно боясь, что он от-

кажет, припала губами к неровно заросшей ране. — Я дура?

— Нет, почему же? — не сразу нашелся он и понял, как глупо вышло. Рубец раны, казалось ему, неприятен для губ, и вообще блажь это какая-то. Но уступать надо — виноват он кругом. — Если хочешь... — обмирая, начал лейтенант. — Можно... еще...

Она тронула губами его ключицу, губами же нашла рубец и прикоснулась к старой ране еще раз, еле ощущимо, трепетно.

Дыхание Бориса вновь пресеклось. Кровь прилила к вискам, надавила на уши и усилила все еще не унявшийся шум. Горячий туман снова начал наплывать, а шелест слов обезоруживал его, ввергал в гулкую пустоту.

— Мальчик ты мой... Кровушка твоя лилась, а меня не было рядом... Милый мой мальчик... Бедный мальчик... — она целовала его вдруг занывшую рану. Удивительно было, что слова ее не казались глупыми и смешными, хотя какой-то частицей сознания он понимал, что они и глупы, и смешны.

Преодолевая скованность, захлестнутый ответной нежностью, Борис неуверенно тронул рукой ее волосы — она когда-то успела расплести косу, — зарылся в них лицом и ошеломленно спросил:

— Что это?

— Я не знаю. — Люся блуждала губами по лицу Бориса, нашла его губы и уже невнятно, как бы проваливаясь куда-то, повторила: — Я не знаю...

Горячее, срывающееся дыхание ее отдавалось неровными толчками в нем, и, неожиданно для себя, он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собою из его расслабленного и отдалившегося рассудка:

— Милая...

Он почти простонал это слово и почувствовал, как оно, это слово, током ударило женщину и тут же смягчило ее, сделало совсем близкой, готовой быть им самим, и, уже сам готовый быть ею, он отрешенно и счастливо выдохнул:

— Моя...

Снова было тихо и неловко. Но они уже не отстраивались друг от друга, и тела их, только что оцепенелые от тяжести, как бы налитые раскаленным металлом, остывали.

Наступило короткое забытье, но они помнили один о другом и в этом забытии, и потому скоро проснулись.

— Я всю жизнь, с семи лет, может даже и раньше, любила вот такого худенького мальчика и всю жизнь ждала его, — ласкаясь к нему, говорила складно, будто по книжке, Люся. — И вот он пришел!

Люся уверяла, что она не знала мужчины до него, что ей бывало только противно. И сама уже верила в это. И он верил ей. Она клялась, что будет помнить его всю жизнь. И он отвечал ей тем же. Он уверял ее и себя, что из всех когда-либо слышанных женских имен ему было памятно лишь одно, какое-то цветочное, какое-то китайское или японское имя — Люся. Он тоже мальчишкой, да что там мальчишкой, совсем клопом, с семи лет, точно, с семи, слышал это имя и видел, точно видел, много-много раз Люсю во сне и называл ее своей милой.

— Повтори еще, повтори!

Он целовал ее соленое от слез лицо.

— Милая! Милая! Моя! Моя!

— Господи! — отпрянув, воскликнула Люся. — Умереть бы сейчас.

И в нем сразу что-то оборвалось. В памяти отчетли-

во возникли старик и старуха, седой генерал на серых снопах кукурузы, обгорелый водитель «катюши», убитые лошади, одичавшая собака, раздавленные танками люди — мертвецы, мертвецы...

— Что с тобой? Ты устал? Или?.. — Люся приподнялась на локте и пораженно уставилась на него: — Или ты... смерти боишься?!

— На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь... слышал я. Беда не в этом, — тихо отозвался Борис и, отвернувшись, как бы сам с собою заговорил: — Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею... Страшно, когда само слово «смерть»... делается обиходным, как слова: есть, спать, любить... — Он еще хотел что-то добавить, но сдержал себя.

— Ты устал. Отдохни. Отдохни. — Люся не могла поймать его взгляд. Он отводил глаза. Тогда она легла щекой на его грудь. — Ох, как сердчишко-то! — и придала ладонью то место, где сердце: — Тихонько, тихонько, тихонько... Вот та-ак, во-от та-а-ак... успокойся...

— Не надо говорить больше о смерти.

Люся отдернула руку, потеряла ладонью висок и повинилась:

— Прости... Я забыла про войну.

Опять самолетик затрещал над хатой, чиркнул огоньком по стеклу и замолк вдали. Сделалось слышно улицу.

Не спала улица.

За стеной хаты жили, шевелились войска. Донесло песню:

Суровый голос раздается:  
Клянемся землякам —  
Покуда сердце бьется,  
Пощады нет врагам!



Завыла машина. Свет фар закачался в окне, и зашевелилось деревце. Оно то прибивалось к окну, почти касаясь ветками стекол, то опадало в снеговую темень. На стеклах вспыхивали и гасли морозные искры, и обостренно чувствовалось, как хорошо и тепло в избе. Загрохотал танк или трактор. Рывкнул, остановился, и мотор забухал обузданно, на холостых оборотах.

— Взяли! Взяли! Взяли! — разнобойно кричали за окном, и голоса начали удаляться.

«К фронту. Фронт догоняют», — отметил Борис.

На кухне кто-то громко стал отплеиваться, сморкаться. «Карышев, — догадался лейтенант, — закаленный табакур. Он и ночами встает жечь махорку». За скрипела, хлопнула дверь — вернулся Карышев с улицы, брякнул ковшом, выпив, должно быть, холодной воды, покашлял еще и стих.

Где-то за рекой, в оврагах ударил взрыв, брякнуло гулко, как по тазу, раскатился гул в морозной ночи, задрезжало окно, с деревца порхнул снежок, на кухне вскрикнул Шкалик и замычал, успокаиваясь.

— Еще чьей-то жизни не стало... — послушав, не повторится ли взрыв, проговорил Борис.

Люся прикрыла ладонью его рот, и так они лежали, вслушиваясь в ночь, чего-то ожидая. Борис признательно тронул губами ее ладонь, пахнущую щелоком и мылом, простым мылом. И такой доступный, домашний запах, вошедший в него с детства, что-то снова стронул в нем. Досадуя на самого себя за возникшее отчуждение, он опять по-ребячьи зарылся в ее волосы и с удивлением вспомнил, что брезговал когда-то волосами, оставленными в гребешке. И, смешно вспомнить, еще брезговал споротыми пуговицами.

— Я думала, ты на меня сердисься, — чутко откликнулась Люся на ласку и обняла его за шею уже

уверенно. — Не надо сердиться. Нет у нас на это времени...

В какой-то миг они потеряли стыдливость. Жарко дышали раскрытые губы Люси, грешно темнели гнездышки грудей, опали, спутались вокруг шеи ее длинные волосы. Она устало ткнулась лицом в его плечо.

— Ты все-таки уснул бы, уснул бы...

«Не спи. Побудь еще со мною, не спи!..» — слышалось ему, и, чтобы угодить ей, а угождать ей было приятно, он просунул руку под ее голову и заговорил:

— Ты знаешь, когда я был маленький, мы ездили с мамой в Москву. Помню я только старый дом на Арбате и старую тетушку. Она уверяла, что каменный пол в этом доме, из рыжих и белых плиток выложенный, — сохранился еще от пожара, при Наполеоне который был... — Он прервался, думая, что Люся уснула, но она тряхнула головой, давая понять, что слушает. — Еще я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая... Простенькая такая, понятная и сиреневая... Я почему-то услышал сейчас ту музыку и как танцевали двое — он и она, пастух и пастушка, — вспомнил. Лужайка зеленая. Овечки белые. Пастух и пастушка в шкурах. Они любили друг друга, не стыдились любви и не боялись за нее. В доверчивости они были беззащитны. Беззащитные не доступны злу — казалось мне прежде...

Люся слушала, боясьдохнуть, знала она, что никому и никогда он этого не расскажет, не сможет рассказать, потому что ночь такая уже не повторится.

— И ты знаешь, — усмехнулся Борис, и Люся обрадовалась, что он все-таки помнит о ней, — знаешь, с тех пор я начал чего-то ждать. Раньше бы это порчей назвали, бесовским наваждением. — Он прервался, вздохнул, как бы осуждая себя. — Видишь вот...

— Мы рождены друг для друга, — как писалось в старинных романах, — не сразу отозвалась Люся. — Если тебе хочется, я расскажу о себе. Потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась в музыкальном училище. Да, да. — Она тронула пальцем удивленно открывшийся рот Бориса. — Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение, — дремотно приваливаясь к нему, тихо вздохнула она. — Я слышу тебя. И больше мне ничего не надо.

Уходила куда-то старая дорога, заросшая травой, и на ней два путника — он и она. Бесконечной была дорога, далекими были путники и чуть слышна, почти невнятна, сиреневая музыка...

Борис вскинулся, сел, стиснул руками лоб.

— Я, кажется, опять заснул?

— Ты так забился, так забился... Тебе опять снилась война?

Обрадованный тем, что он смог пересилить себя, отогнать сон, что рядом живой, бесконечно уже дорогой ему человек, Борис притиснул ее настывшее тело к себе.

— У меня голова кружится...

— Я принесу тебе поесть и выпить. Ты ведь вечером не ел.

— Откуда ты знаешь? Тебя и дома не было.

— Я все знаю. Вот поешь и отдыхай.

— Наотдыхаюсь еще. Без тебя. А поесть не мешало бы. Никого не разбудим?

— Не-ет. Я сторожка! — Люся лукаво улыбнулась, погрозила ему пальцем: — Не смотри на меня! — Но он смотрел на нее, и она взяла обеими руками его голову и отвернула лицом к стене. — Не смотри, говорю!

Они дурачились, позабыв о том, что шуметь-то особенно и не надо бы.

— У-у, какой! Нельзя так! Я тоже проголодалась, — шлепнула она его и, схватив халат, выскользнула и зашуршала за дверью одежды.

— Эй, человек!

— Борька, не балуй! — просунула она лицо меж занавесок, и было в ее быстрых, совсем уж приблизившихся черных глазах столько всего, что Борис не выдержал, ринулся к ней, но она сомкнула перед ним занавески, и когда он уткнулся лицом в ее лицо сквозь жесткую занавеску, выпалила:

— Я тебя люблю!

Мальчишество напало на него. Он ударил в подушку кулаком, подбросил ее: упал на подушку грудью, будто на теплую еще птицу, и увидел на простыне, как в гипсе, слепок ее тела...

Он осторожно дотронулся до простыни.

Под ладонью была пустота.

Люся объявилась в дверях с посудой, с хлебом и картошкой, хотела сказать, что, слава богу, кум-пожарник не всю самогонку выдул, и замерла, увидев растерянность на лице Бориса. Он будто не узнавал ее, нет, узнавал, видел, но видел как бы уже со стороны.

— Ты что?

К глазам его подкатывали слезы, лицо страдальчески заострилось.

— Я здесь! — тронула она его.

Он передернулся и до хруста сжал ее руку.

Люся рывком притиснула его к себе и тут же оттолкнула, принялась налаживать еду. Они молча пили самогонку из одной кружки и, выпив, всякий раз целовались. Молча же закусывали картошкой и салом, и он чистил картошку для нее, а она для него.

Поели, и стало нечего делать, и не о чем уж вроде бы и говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту идущей на убыль ночи. Борис виновато погладил ее руку. Люся признательно сжала его пальцы, и тогда он диковато схватил ее, прижал к кровати:

— Смерти или живота?

— Ах, какой ты!

— Дурной?

— Псих!.. И я псих... Кругом психи...

— Просто я пьяный, а не псих.

— Нельзя так много, — увернулась Люся от его рук.

— Можно! — заявил он, дрожа от вымученной настойчивости.

— Ты слушайся меня. Мне уж двадцать первый!

— Поду-умаешь! Мне самому двадцатый!

— Вот видишь, я старше тебя на сто лет! — Люся осторожно, как ребенка, уложила его на подушку. — А времени-то третий час!..

Кто-то из солдат опять зашевелился на кухне, пошел, запнулся за корыто, выругался хрипло. И они опять пережидали, притихнув. От окна падал рассеянный полумрак, высветляя плечи Люси, пробегая искристыми светляками по стеклу, взблескивая снежно в ее волосах. Накаленно светились ядрышки ее зрачков. Под ресницами и под маленьким, круто вздернутым подбородком притемнилось. Уже предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они, и ничего им больше не хотелось; ни говорить, ни думать, а только сидеть так вот вдвоем в полудремном забытии и чувствовать друг друга откровенными, живыми телами, испытывая неведомое блаженство, от которого душа делалась податливой, мягкой, плюшевой делалась душа.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

# ПРОЩАНИЕ

Горькие слезы застлали мой взор.  
Хмурое утро крадется, как вор,  
ночи вслед.  
Проклято будь наступление дня!  
Время уводит тебя и меня  
в серый рассвет.

*(Из лирики вагантов)*

Окно засветилось, и комната стала наливаться красным светом. Одногласно зарыдала соседская дворняга в переулке, и, морозно дребезжа, звякнул колокол. Яблонька за окном начала дергаться, шевелиться, приближаясь к окну. Все в комнате сделалось живое, задвигалось тенями, замельтешили кресты от рам на полу и на стене.

Люся больно вцепилась ногтями в Бориса. Он прижал ее к себе. «Ну, что ты, что ты, маленькая! Не бойся...» — Бояться нечего — опасность лейтенант сразу бы почувствовал: нюх у него вышколен войною.

По ту сторону узких топольков, стеной стоявших за огородом в проулке, ярко, весело горела хата, заваливаясь шапкой крыши на бок, соря ошметками пламени по огороду.

«Высушили славяне портянки!» — подумал Борис почему-то весело — уж очень резво пластала хата. Борис знал, что в хатах этих матица — она же и дымоход. Пока топят соломой — ничего, а как запалят дрова или скамейки, да еще бензинчику плеснут солдаты — ни жилья тогда, ни портянок.

— Полицая жарят, — глухо произнесла Люся и

стала кутаться в одеяло, кинутое на плечи. — Шкура продажная! Так ему и... На пересылке служил, на подхвате у фашистов. наших людей, как утиль-сырье, там сортировали: кого в Германию, кого в Криворожье — на рудники, кого куда... — Голос Люси дрожал. Блики метались по лицу ее и по груди. Лицо делалось то бледным, то серело, заваливаясь в тень, и лишь глаза, зачерненные ресницами, светились накаленно и злобно.

— Как заняли местечко фашисты, на постой к нам определился фриц один. Барственный такой. С собакой в Россию пожаловал! На собаке ошейник позолоченный. Лягуха и лягуха собака — скользкая, пучеглазая... Фашист этот культурный приводил с пересылки девушек — упитанных выбирал... съедобных... Что он с ними делал! Что делал! Все показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола вилкой глаз вальяжному фрицу, за парижскую-то любовь... Один только успела. Собака схватила и загрызла девушку... — Люся закрыла лицо руками и так его сдавила, что из-под пальцев покатились бледность, — на человека, видать, притравленная... Перекусила ей горло разом, как птичке, облизнулась и легла к окну... там!.. Там!.. — показывала Люся одной рукой, а другой все зажимала глаза, и Борис, чувствуя, как холодеют у него спина и темя, понимая, что она, Люся, видит что-то страшное и сейчас, придушенно спросил:

— Что?.. На твоих глазах?..

Она потрянула головой раз-другой, видно, не могла уже остановиться, и все трясла, трясла головой, закатившись в сухих рыданиях...

Он притиснул ее к себе и не отпускал до тех пор, пока она не успокоилась немного. «Бить! Би-ить так, чтобы зубы крошились! — подумал он. — Правильно, Филькин, правильно!» — вспомнив командира роты,



утренний бой, овраги, Борис вспомнил и собаку с дорогим ошейником, рвущую убитого коня: «Она! Надо было пристрелить...»

— Поймали его наши партизаны. — По зловещей и какой-то мстительной улыбке Люси Борис заключил — не без ее участия. — Повесили в лесу на сосне. Собака его выла в лесу. Грызла ноги хозяина. До колен его съела. Дальше допрыгнуть не могла. Подалась к фронту. Там есть чем пропитаться... А вражина безногий висит в темном бору, стучит костями, и пока не вымрет наше поколение — все будет слышно его...

Собака в переулке уже не рыдала, а хрипела, задохнувшись на привязи, и больше никаких голосов не слышалось, и колокол не звонил.

— Всех бы их, гадов! — стиснув зубы, процедила Люся. — Всех бы подчистую искоренить...

Борис не узнавал в ней ту женщину, восторженную и преданную в страсти своей, что пришла к нему в далекий-далекий вечерний час. Он отвел ее обратно на кровать, укрыл одеялом и, успокаивая, приложил ладонь к гладкому, покатиному лбу. Она притихла под его рукою, и спустя время ознобная дрожь перестала сотрясать ее.

— Боря, расскажи мне об отце и матери. Кто они у тебя? — попросила Люся. — Я хочу к ним привыкать. Хочу все знать о тебе.

Борис понял: больше всего сейчас она хочет отвлечься, забыть что-то, уйти от тяжелых видений.

— Учителя, — не сразу, но охотно отозвался Борис. — Отец завуч теперь, а мать преподает русский и литературу. Школа наша в бывшей гимназии. Мама училась еще в ней как в гимназии. — Он прервался, и Люся женским чутьем, особенно обострившимся в эту ночь, уловила, как он снова отдаляется от нее. — Ког-

да-то в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его жены, генеральши Фонвизиной, Пушкин будто бы свою Татьяну писал. Мама там десятая или двадцатая вода на киселе, но все равно гордится своим происхождением. Я, идиот, не запомнил родословную мамы, — он улыбнулся чему-то своему, закинув руки за голову, глядя в какую-то свою даль. — Улицы и переулки в нашем деревянном городке зарастают всякой разной топтун-травой. Набережная есть. Бурьян меж бревен растет, плишки в щелях гнезда вьют. Весной на углеве медуница цветет, а летом — сорочья лапка и богородская травка, и березы растут, старые-старые. А церквей!.. Золотишники — чалдоны ушлые были: пограбят, пограбят, а потом каждый на свои средства — храм! И все грехи искуплены! Простодушны все-таки люди. Ну, а теперь в церквях гаражи, пекарни, мастерские. По церквям кусты пошли, галки да стрижи в колокольнях живут. Как вылетят стрижи перед грозой — все небо в крестиках! И крику, крику!.. Ты спишь?

— Что ты, что ты?! — ворохнулась Люся. — Скажи... Мама твоя косы носит?

— Косы? При чем тут косы? — не понял Борис. — У нее челка. Косы у молодой были. Я у них поздныш, вроде бы как сын и внук сразу... — Он поправил подушку, навалился на нее грудью.

Воспоминания, далекие, безмятежные. Они прикипели к сердцу, растворились в крови, жили в нем, волнующая и утешая его, были им самим. А разве себя перекажешь?

Вот он слышит, как пахнет утро в родном городишке.

Росами и туманами — холодными, травянистыми — пахнет оно. Под завалившимся срубом набережной

скапливался туман, конопатил щели меж бревен, заячьими шапками надевался на купола церквей. От реки шел запах прелой коры, и туманы пахли убитым лесом. Коренная вода подбиралась к дамбе, вымывала из-под срубов землю, отрывала гнилые сутунки.

Когда река укатывалась в берега, под дамбой оказывалось столько таинственного добра: бутылочных стекол, черепушек, озеленелых от плесени монет, костей, медных крестиков. В лужах под дамбой бедовала, прозевавшая отход реки, рыба мелочь. Вороны прыгали вдоль распертой землею дамбы, хищно совали головы под бревна и заглатывали рыбешек с жадным клетотом.

Ребятишки били ворон камнями, вытаскивали рыбешек из луж, засоренных гнильем. Рыбешки измученно бились в теплых руках, лезли меж пальцев. Опущенные в воду, лежали они поверх воды, пошептывая судорожными ртами и, пьяно качаясь, уходили ненадолго в глубину. Но их, как сухие ивовые листья, выталкивало вверх. Набравшись сил, с уже осознанным страхом, малявки шильцами втыкались вглубь, высматривая корм и клубящуюся в воде родную стайку.

Осенью к дамбе скатывали бочки, торцами прислоняли их к стене, и туманы в эту пору, да и весь городшко, пахли рыбой и плесенью. Штабеля бочек поленицами росли выше и выше, и пароходов, баржей приставало все больше и больше. Обветренного, истосковавшегося по обществу, подоличавшего народа — северных рыбаков людно и густо делалось. Играли гармошки на берегу, повизгивали за омулевыми и муксуньими бочками женщины, и ребятишки подсматривали стыдное. Ночи делались шаткие, беспокойные, и все в городе пело и гуляло, как при древних золотишниках, вернувшихся с фартом.

— Пареваны и девки любят у нас встречать пароходы. Каждый пассажирский. Парят себя ветками — комары и мошки заедают, — улыбаясь, заговорил Борис, и Люся догадалась, что перед ним прошли какие-то, лишь ему известные, картины и он продолжает их видеть отдельно от нее.

Она отодвинулась, но Борис даже и не заметил этого, он все так же глядел куда-то, блаженно улыбаясь.

— Гонобобелью — это у нас голубику-пьянику так называют, — или черницей, или орехами кедровыми потчуют девок пареваны. Рты у всех черные. Городишко засыпан ореховой скорлупой... Да что это я про комаров да про ягоды?! — спохватился Борис. — Давай лучше мамины письма почитаем.

Люся не без грусти отметила, что он решился на это не сразу. Еще не привык свое делить пополам, и время нужно, чтобы все у них стало едино: и жизнь, и душа, и мысли.

— Только тебе опять придется идти. Письма в сумке.

Она поднялась, ввернула лампочку и, зажмурившись от света, подумала, что он всю жизнь будет вот так посылать ее, и она не устанет быть у него на побегушках.

— Этому пузырьку-то вашему плохо. Со вчерашней гулянки никак не отойдет. Мучается. Зачем такого мальчика поить? — выговаривала лейтенанту Люся, вернувшись с сумкой. — Ох, Борька, — она погрозила пальцем. — Балованный ты!

— В самом деле? Это мама... Знаешь, — улыбнулся он, — папа меня в секцию бокса отдал в лесокомбинатовский клуб. И мне там сразу нос расквасили. В секцию меня мама больше не пустила, но папа везде с собой брал: на рыбалку, на охоту, орехи бить. Однако

пить никогда не позволял. А этот, чердынский, до-  
рвался...

Люся развела складки на его переносице, пальцем  
прошлась по бровям, которые начинались тонко и,  
взлетев к вискам, круто опадали вниз.

— Ты на маму похож?

Не понимая, какая приятность для женщины от-  
крывать мужчину — иногда на такое занятие уходит  
вся жизнь, и считается, что это и было истинной лю-  
бовью, — он отбился сконфуженно:

— Не стоит заниматься моей персоной...

— Какой ты воспитанный мальчик! — толкнула  
его Люся. — Читай. Только я растянусь. Читай-чи-  
тай! — Он заметил темные полукружья под ее глазами  
и пожалел непривычной мужицкой жалостью:

— Утомилась?

— Читай-читай!

❶ Писем была большая пачка. Борис выбрал одно,  
расправил уголки, погладил — и, как во вспышке зар-  
ницы, увидел мать с белым полушалком на покатых  
плечах, с желтой деревянной ручкой в припачканных  
чернилами пальцах, почудилось даже — услышал, как  
скрипит перо, вывязывая мелкие строчки:

«Родной мой!

Ты знаешь своего отца. Он притесняет меня, гово-  
рит, чтобы я часто тебе не писала — ты вынужден отве-  
чать и станешь отрывать время от сна. А я не могу не  
писать тебе каждый день.

Вот проверила тетради и пишу. Отец чинит мережу  
на кухне и думает о тебе. Я-то читаю его, как учени-  
ческую тетрадку, и вижу каждую пропущенную запя-  
тую и эти вечные ошибки на «А» и «О». Отец твой пе-  
реживает — был сдержан и сух с тобою, не долюбил,  
как ему кажется, не досказал чего-то. Он чинит мере-

жу, думая, что ты вернешься к весне. Он до того изменился, что иногда называет меня «девочка моя». Так он называл меня еще в молодости, когда мы встречались. Смешно. Нам ведь и тогда уже за тридцать было.

Я писала тебе, как трудно нынче в школе. Удивляться только приходится, что в самые тяжелые дни войны школы не закрыты и мы учим детей, готовим к будущему, значит, не теряем веры в него...

...Боренька! Вот снова вечер. Письма от тебя и сегодня нет. Как ты там? У нас печка топится, чайник крышкой бренчит. Отца сегодня нет. Он еще математику ведет в вечерней школе. Почему ты, Боренька, вскользь написал о том, что тебя наградили орденом? Даже не сообщил — каким? Ты же знаешь своего отца, его понятия о долге и чести. Он был бы рад узнать, за что тебя наградили. Да и я тоже. Мы оба гордимся тобою.

Между прочим, отец твой рассказывал мне, как он учил тебя ходить в лодке с шестом. И увидела я тебя: в трусишках, худенького, с выступившими ребрами. Лодка большая, а ты бьешься в подпорожье, а отец ловит этих несчастных пескарей и видит, как тебя развернуло и понесло. Потом ты почти добрался до каменного бычка, прибился в улово, но тебя снова развернуло и понесло. Ты поднимался пять раз, и пять раз тебя сносило. У тебя вспотел нос (всегда у тебя потел нос). На шестой раз ты все же одолел преграду: «Папа! Я лодку привел!» А он: «Ну что ж, хорошо! Привяжи ее к камню и начинай удить пескарей — надо к вечеру успеть наживить перемет».

Что за комиссия, создатель, — быть ребенком педагогов! Вечно они дают ему уроки. И вырастают у них, как правило, оболтусы (ты — исключение, не куксись, пожалуйста!).

Беда с твоим отцом. Как он переживал, когда в армии ввели погоны! Мы, говорит, срывали погоны, а детям нашим их навесили! А я потихоньку радовалась, когда погоны ввели. Я радуюсь всему, что разумно и не отрицает русского достоинства. Может быть, во мне говорит кровь моих предков?

Закругляюсь. Раз вспомнила о предках, значит, пора. Это как у твоего отца: если он выпивший пошел танцевать, значит, самое время отправляться ему в постель. Танцевать-то он не умеет. Это между нами, хотя ты знаешь.

Родной мой! У нас уже ночь. Морозно. Может, там, где ты воюешь — теплее? Всю географию перезабыла. Это потому, что я рядом тебя чувствую.

Вот как кончат письмо, так и расклеюсь. Прости меня. Слабая я женщина и больше жизни тебя люблю. Ты вот тут, — я дотронулась до сердца рукою... Прости меня, прости. Надо бы какие-то другие слова, бодрые, что ли, написать тебе, а я не умею. Помолюсь лучше за тебя. Не брани меня за это. Все матери сумасшедшие... Жизнь готовы отдать за своих детей. Ах, если б это было возможно!..

Отец твой избличил меня. Я на сон шепчу молитву, думала, отец твой спит. Не таись, говорит, если тебе и ему поможет... Я заплакала. «Девочка моя!» — сказал он. Да ты знаешь своего отца. Он считает, что у него не один, а двое детей: ты и я.

Благословляю тебя, мой дорогой. Спокойной тебе ночи, если она возможна на войне. Вечная твоя мать — Ираида Фонвизина-Костяева».

Письмо кончилось, а Борис все еще держал его перед собой и не отрываясь смотрел на бегучую подпись матери и явственно видел ее: носатенькую, с оттопыренными ушами, в белом полушалке, сползшем с по-

катых плеч; и по-старомодному заколотые на затылке волосы видел, и реденькую челку надо лбом, которая всегда вызывала ухмылки учеников. Мать убрала письмо, закуталась в полушалок, раздвинула занавески на окне, пытаясь мысленным взором покрыть пространство, отделяющее ее от сына.

За окном дробятся негустые огни старенького городка, а за ними угадывается темный провал реки, vaporошенной льдами, и дальше — мерклые очертания гор с мрачной, немой тайгой на склонах и колдовской жутью в обвально-глубоких распадах. Тесно сомкнулось пространство вокруг городка, вокруг дома и самой матери. Где-то по другую сторону непроглядной, обрывающейся за рекою земли — он, и где-то, отдаленная окопами, тысячами верст расстояния, меж двумя враждующими мирами — она, мать.

Борис спохватился, свернул письмо в треугольник, изношенный по краям.

— Старомодная у меня мать, — сказал он нарочито громким голосом. — И слог у нее старомодный...

Люся не отозвалась.

Борис повернулся и увидел, что все лицо ее залито слезами, и почему-то не решился ее утешать. Люся схватила жбан с этажерки, расплескивая на грудь самогон, глотнула из горлышка и прерывисто заговорила:

— Я должна о себе... Чтоб не было между нами...

Борис попытался остановить ее.

— Было все так хорошо. Психопатка я, в самом деле психопатка! — вытирая лицо ладонями, будто омывая его, говорила она, и губы ее дрожали. Борис укутал ее плечи и грудь одеялом. — Какой ты ласковый! Ты в мать! Я теперь знаю ее! Зачем войны? За одно только горе матери... Ах, господи, как бы это сказать?



— Я понимаю. До фронта, даже до вчерашней ночи, можно сказать, не понимал...

...Матери, матери! Зачем вы покорились дикой человеческой памяти и примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественней всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной и звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданием и надеяться на чудо. Бога нет! Веры нет! Над миром властвует смерть. На что нам надеяться, матери?

А за окном кончалась ночь. И земля неторопливо поворачивалась тем боком к солнцу и дню, где чужое и наше войско спало в снегах.

Хата догорела, обвалилась. Куча уже хиреющего огня умиротворенно дожевывала остатки балок, пробегая по ним юрким горностаишком и занырявая в обтаявшую яму.

Люся распластанно лежала на кровати, остановившимися глазами глядела в потолок. В окне красным жучком шевелился отсвет пожарища, но комната уже наполнилась темнотою, и темнота эта не сближала их, не рождала таинства. Она наваливалась холодной тоскою, недобрый предчувствием.

— Я бы закурила. — Люся показала на этажерку.

И, не удивляясь и, опять же, не спрашивая ни о чем, Борис нашарил в деревянной шкатулке пакетик с табаком и, как умел, скрутил сигарку. Люся сунула руку под матрац, вынула зажигалку. Чему-то усмехнувшись, переделала сигарку, склеенную вроде пельменя, свернула ее ту же и, прикурив, осветила лицо Бориса огоньком. Усмешка все не сходила с ее губ.

— Зажигалка того самого фрица, — Люся щелкнула по ней ногтем и загасила огонек, дунув на него. — Хозяина повесили в бору на сосне, а зажигалочка оста-

лась... заправленная зажигалочка, костяная... — У Люси клокотало в горле. Она затягивалась табаком по-мужицки умело и жадно. — Девоч он, между прочим, потрошил на этой самой кровати...

— Зачем ты мне это?

— О-ох, Борька! — бросив на пол сигарку, срубленно упала Люся на него. — Где же ты раньше был? Неужели войне надо было случиться, чтобы мы встретились? Милый ты мой! Чистый, хороший! Страшно-то как жить!.. — Она тут же укротила себя, промакнула лицо простыней. — Все! Все! Прости. Не буду больше.

Он невольно отстранился от нее, и опять его потянуло на кухню, к солдатам, — проще там все, понятней, а тут черт-те какие страсти-ужасы, и вообще...

— Чóго сыдышь тай думаешь? Чого нэйдешь, нэ гуляешь? — усмехнулась Люся и запустила руку в волосы лейтенанта: — Так и не причесался? Волосы у тебя мягкие-мягкие!.. Не умеешь ты еще притворяться... Мужчина должен уметь притворяться...

— А ты... Ты все умеешь? — Борис пугливо замер от своей дерзости.

— Я-то? — она опять глядела на свои руки, и это раздражало его. — Я ж тебе говорила, что старше тебя на сто лет. Женщинам иногда надо верить... — треснуто, натужно рассмеялась. — Ах, господи, до чего я умная!.. Ты чувствуешь, у нас дело к ссоре идет? Все, как у добрых людей.

— Не будет ссоры. Вон уже светает.

Окно и в самом деле обрисовалось квадратом, в комнату просочился рассеянный свет.

— На заре ты ее не буди... — прошептала Люся и замерла, поникнув. Затем подняла голову, откинула с лица волосы и опустила руки на плечи Бориса: — Спасибо тебе, солнышко мое! Взросло, обогрело!..

Ради одной этой ночи стоило жить на свете. Дай выпить и ничего не говори, ничего...

Борис поднялся, налил в кружку самогона. Люся передернулась, отпив глоток, подождала, когда выпьет он, и легко, накоротке приникла к нему.

— Ты меня еще чуть-чуть потерпи. Чуть-чуть...

Борис дотронулся до ее губ, и она дрогнула веками. И снова размягчилась его душа. Хотелось сделать что-нибудь неожиданное, хорошее для нее, и он вспомнил, что надо делать. Неловко, как сноп, подхватил ее в бе-ремя и стал носить по комнате.

Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко ее носить, но так полагается в благородных романах — носить женщин на руках, вот пусть и носит, раз такой он начитанный. Млея, слушала она, какую он мелет несбыточную, но приятную чушь: война кончилась, он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию на глазах у честного народа, три километра, все три тысячи шагов...

«Ах ты, лейтенантик, лейтенантик!» — пожалела его и себя Люся и, тронув губами проволочно-твердый рубец его раны, возразила:

— Нет, не так. Я сама примчусь на станцию. Нарву большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка. Будет много цветов. Будет много народу. Будут все счастливые... — Люся прервалась и чуть слышно вздохнула: — Ничего этого не будет...

Он не хотел ее слышать и бормотал, как косач-токовик, всякую ерунду про вечную любовь, про счастье и верность.

Очнувшись, они услышали, как ходят по кухне солдаты, топают, переговариваются, кто-то вытряхивает шинель.

Люся сползла к ногам лейтенанта:

— Возьми ты меня с собой, товарищ командир, — прижимаясь к его коленям щекою, просила она, глядя снизу вверх. — Я буду солдатам стирать и варить, перевязывать и лечить научусь. Я понятливая. Возьми! Воюют ведь женщины...

— Да, да, воюют, не смогли мы обойтись на фронте без женщин, — отвернувшись к окну, отрывисто проговорил взводный. — Славим их за это. И не конфузимся. А надо бы...

— Жутко умный ты у меня, лейтенант! — Люся чмокнула взводного в щеку и ушла, завязывая поясок халата.

Борис прилег на кровать и мгновенно провалился, как в подполье, в такой глубокий и бездонный сон, каким еще не спал никогда.

Часа через два Люся на цыпочках вошла в комнату. Пристроив на спинку стула гимнастерку, отглаженную, с уже привинченным орденом, с прицепленной медалью, брюки и портянки, тоже постиранные, но еще волглые, она присела на кровать и тронула Бориса за нос. Он проснулся, но не открывал глаз, нежился.

— Вот! — откидывая рукой выбившиеся из-под платка волосы, заговорила Люся, кивая на гимнастерку. — Ухаживать за любимым мужчиной, оказывается, так приятно! — и сокрушенно покачала головой. — Баба все-таки есть баба. Никакое равноправие ей не поможет.

Румяная, разгоревшаяся от утюга, очень домашняя и уютная была она сейчас. Борис ладонью утер с лица ее пот, обнял ленивыми руками, с уже отмякшей, востковой страстью, потянул к себе.

— Нельзя! Все встали! — уперлась она в его грудь руками.

Но Борис не выпускал ее.

— А если узнают?..

— Солдаты хоть о немецком, хоть о нашем наступлении раньше главного командования узнают, а уж про такое...

Борис одевался, а Люся заплетала косу, когда за занавесками послышалось деликатное, предупреждающее покашливание.

— Товарищ лейтенант, я насчет винишка? — раздался бойкий голос Пафнутьева. — Если осталось, конечно...

— Есть, есть.

— Чё, без горючего-то зажиганье не срабатывало?..

— Болтаешь много! — с напускной строгостью отозвался Борис.

«Ох, но оберешься теперь разговоров! Одобрять его будут солдаты, мол, взводный-то у них — парень не промах, хотя с виду интеллигент!» Все происшедшее будет восприниматься солдатами, как краткое, боевое похождение лейтенанта, и он не сможет ничего поправить и должен будет соглашаться, потакать такому настроению. Расспросы пойдут: как да чего оно было? И ох трудно, невозможно будет отвертеться от пронизательных вояк!

Борис просунул меж занавесок жбан, кружку.

— Шкалику не давать! Тебе и остальным тоже не ковшом.

— Ясенько! — Пафнутьев подморгнул взводному.

— Чего все мигаешь? Окривеешь ведь! — буркнул Борис.

Люся нарядилась в желтое платье. Черные цыганские ленты скатывались по ее груди, коса перекинута через плечо. Рукава платья тоже отделаны черным. На ногах мало надеванные туфли на твердом каблуке. По-

хожа была Люся на девчонку-воструху, которая тайком добралась до маминого сундука и натянула на себя взрослые наряды. За спиной ее, на стеклах, переливалась изморозь, росли белые волшебные кущи, папоротники, цветы, пальмы.

— Какая вы красивая, мадам!

Она потеребила ленточку, намотала ее на палец.

— Я сама, еще в девчонках, это платье шила...

— Да ну-у-у! Шикарное платье! Шикарное!

— Просмешник! Ладно, все равно другого нет. — Люся уткнулась носом в мятый, будто изжеванный погон лейтенанта и дрогнула: стойкий запах гари, земли и пота не истребило стиркой. — Мне хочется сделать что-нибудь такое... — подавляя в себе тревогу, повертела она в воздухе рукой. — Сыграть бы что-нибудь старинное и поплакать... Да нет инструмента, и играть я давно разучилась. — Она шевельнула раз-другой кисточками ресниц и отвернулась. — Ну, поплыла, баба!.. Как все-таки легко свести нашего брата с ума!..

Борис трогал косу, шею, платье, ровно бы уносило ее от него, эту грустную и покорную женщину с такими близкими и в то же время такими далекими глазами, уносило в народившийся день, в обыденную жизнь, а он хотел удержать ее и то, что было с ними и только у них...

Она ловила его руки, пытаясь прижать к себе: вот, мол, я, вот, с тобой, тут, рядом...

\* \* \*

Завтракали на кухне. Люся хотя и прятала глаза, но распоряжалась за столом бойчее, чем прежде. Солдаты многозначительно и незлобиво подшучивали, утверждая, что лейтенант шибко сдал после тяжелых боев, один на один выдерживая натиск противника, а они

вот, растяпы, дрыхли и не исполнили того, чему их учили в школе, — на выручку командиру не пришли. А тоже ведь пели когда-то: «Вот идет наш командир со своим отрядом! Эх, эх, эх-ха-ха, со своим отрядом!» Отряд-то спать только и горазд! Нехорошо! Запущена политико-воспитательная работа во взводе, запущена, и надо ее подтянуть, чтобы юный командир за всех один не отдувался!

Только Шкалик ничего понять не мог. Выжатый, мятый, дрожа фиолетовыми губами, он сидел за столом смиренным стриженным послушником, подавленный мирскими грехами. Поднесли ему опохмелиться. Он закрылся руками, как от нечистой силы. Дали человеку капустного рассолу с увещанием: «Не умеешь, так не пей!»

Люся убрала посуду, поворошила в столе. Среди пуговиц, ниток и ржавых наперстков отыскала тюбик губной помады. Прикрыв за собою дверь в переднюю, она послунявила засохшую помаду и, подкрасив стертые, побаливающие губы, выскользнула из дому с жестяным бидоном.

Солдаты изготавливались стирать, бриться, чистили одежонку, обувь, нещадно дымили махоркой, переговаривались лениво, донимали Шкалика юмором. Лейтенант слушал их неторопливую болтовню и радовался, что к ротному пока не вызывают, никаких команд не дают, глядишь, и задержатся они здесь.

Разговор вращался вокруг одной извечной темы, к которой русский солдат, как только отделается от испуга и отдохнет немного, неизменно приступает. Пафнутьев правил бритву, посасывал сигарку, щурил глаз от дыма, повествуя:

— Отобедали это мы. Ребятишек дома нету. Тятя и мама уже померли в те поры. Зойка со стола убирает,

а я курю да поглядываю, как она бежит по избе, ногами круглыми вертит. Окна открыты, занавески шевелятся, назьмом со двора пахнет. Тихо. И, главное, ни души. Убрала Зойка посуду. Я и говорю: «А че, старушонка, не побаловаться ли нам?». Зойка пуще прежнего забегала, зашумела: «У вас, у кобелей, одно только на уме! Огород вон не полотый, в избе не прибрато, ребятишки где-то носятся...». «Нук че, говорю, огород, конечно, штука важная. Поли. А я, пожалуй, к девкам подамся!» — В силах я тогда еще был, на гармошке пилит. Вот убегла моя Зойка. Минуту нету, другу, пяту... Я табак курю, мечтаю... Пых — пара кривых! Влетает моя Зойка уж наизготовке, плюхнулась поперек кровати и кричит: «Подавися, злодей!..»

Хата качнулась от гогота, и сам Пафнутьев закачался, прикрыв замаслившиеся от сладостных воспоминаний глаза, едва ремень бритвою не перехватил. Шкалик капусту ел и чуть не подавился. Малышев завез ему по спине кулаком — слетел солдатик со скамейки и капусту незаметно проглотил. Карышев моторно фукнул ноздрями — со стола спорхнула и закружилась луковая шелуха. Даже застенчиво помалкивающий и больной с похмелья Корней Аркадьевич смял в улыбке блеклые губы.

Возвратилась Люся, потаенно улыбаясь, стала манить Бориса в переднюю. Там она сунула ему бидон и заставила пить парное молоко. Не переставая многозначительно улыбаться, вытерла его наметившиеся усы, смоченные молоком, и с придыхом сообщила ему на ухо:

— Я узнала военную тайну!

У лейтенанта от удивления открылся рот и лицо сделалось недоверчиво-глуповатое.

— Ваша часть еще день или два простоит здесь!



Взводный издал гортанный звук, схватил Люсю и закружил по комнате, да и смахнул с окна зеркальце.

— Ой! — вскрикнула Люся. — Это к несчастью!

— Какое несчастье? — рассмеялся Борис. — Ты веришь в приметы! Суеверная ты! Отсталая! Двое суток! Это, что ли, мало?!

Люся молча собирала осколки зеркала. Борис помогал ей и пересказывал байку Пафнутьева. Громко стукнула дверь. Люся сунула стекла в кадку с цветком и поспешила на кухню.

— В ружье, военные! — наигранно бодрясь, хриплым голосом гаркнул старшина и, стукнув валенком о валенок, доложил Борису: — Товарищ лейтенант, приказано явиться на площадь. Подают машины.

— Машины? Какие машины? Двое ж суток!..

— Кто натрепал? — Мохнаков побуравил народ покрасневшими глазами. Солдаты пожимали плечами. Пафнутьев сверлил пальцем у виска и подмигивал старшине. Мохнаков собрался отколоть что-нибудь по этому поводу, но очень уж слиняло лицо взводного. — Колонна! — пояснил старшина. — Та самая колонна, что перевозила пленных, отряжена полку. Пехом и за зиму фронт не догнать.

Люся прижалась спиной к двери. Белый платок разошелся, сделались видны на груди черные ленты и вырез платья. Борис пеньком торчал посреди кухни. «Что это вы?» — вопрошал взгляд Мохнакова.

Солдаты ворчали друг на друга, ругали войну, собирая пожитки, толкали лейтенанта, Шкалик рылся в соломе — ремень искал. Старшина поворошил валенком солому, зацепил ремень, похожий на избитую камнями змею, и валенком же закинул его на голову Шкалику.

— Няньку тебе!

Невелик скарб при солдате. Как ни волынили, а все же собрались. Прощаться начали, все разом заговорили, пожимая руку хозяйке. Привычное дело: тысячу, если не две сменили ночевок, двигаясь по фронту.

— Запыживай, запыживай, славяне! — чем-то недовольный, подбрасывал монету старшина. — Машина — не конь, — ждать не любит!

Солдаты закурили и потянулись, растащив валенками солому по кухне. В хате сделалось пусто, выстуженно. Люся двинула спиной дверь и провалилась в комнату.

— Мне извиниться или как?

Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенце, Борис пустоглазо уставился на Мохнакова.

Старшина что-то грубо бормотнул, прихлопнув шапку на ухо, подкинул монету до потолка, но не сумел ее поймать, и, саданув дверью, вышел.

Борис проводил взглядом воинство, выжитое из теплого жилья, и, прежде чем войти в переднюю, постоял, будто у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот шинели и толкнул дверь.

Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она смотрела в окно. Петелька на рукаве платья соскользнула с пуговицы, и черные крылья разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговицу, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить, а лучше бы всего шутку какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток.

— Тебя ведь ждут, — повернулась Люся. У нее снова отдалились глаза, а голос был буднично спокоен.

— Да.

— Так иди. Я провожать не буду. Не могу. — И от-

вернулась опять, устроив на руки подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе ее, в плотно сомкнутых губах и мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она.

Время шло.

— Что же делать-то? — Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку. — Мне пора. — Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородочек ее смялся, ресницы все чаще и чаще подрагивали, и снова расстегнулся рукав, а хвостик косы упал в мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшиеся волосы и с сожалением опустил косу на ее спину. — Я же не виноват... — задержав руку выше выреза платья, чуть слышно сказал он. Нежное, пушистое тепло устоялось под косой, как в птичьем гнездышке. «Милая ты моя!» — Борис большим усилием заставил себя удержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже.

— Конечно, — почувствовав, что он пересилил себя, сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами горло. — Виноватых нет...

— Прощай тогда... — Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом, осторожно, как в больничной палате, притворил дверь и постоял еще, чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами — не забыл ли кто чего?

Никто ничего не забыл. «Солому не убрали. Насвинячили и ушли. Вечно так... Ладно, чего уж... Долгие проводы — лишние слезы...» Борис подпинал солому в угол и отправился догонять взвод.

Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег хрупал под ботинками, как капуста. Беловатые дымы — топят

соломой — облаком стояли над местечком. Располагалось оно меж двух лесистых холмов, в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посредине.

Борис подивился, что прежде этой церковки он почему-то не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутьями, парило из пробоин. В хуторе тоже топились печи, и дымы оттуда тянуло вдоль реки, а в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом.

Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались в овраги и решили прорываться оттуда? У войны свой особый нрав, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже не поцарапанными. Или расщепает снарядами и бомбами селение, а в середине хата стоит. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы!

Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто выявляя в нем и в себе значительность и перемены. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам — дамской, Филькин повелительно указывал: кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать.

Весело, с прибаутками военные рассаживались по машинам. Нет народа благодуснее выпавшихся, поевших горячей пищи солдат, да еще к тому же узнавших, что не топтать ножками до передовой.

Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожанках с меховым подбоем, в цветастых

платках. Белозубые, спелые, будто сошли дивчины эти с картин Малявина или Кустодиева, а точнее, с доменных выставочных плакатов.

Ни один солдат не проходил мимо дивчин просто так. Каждый оделял их вниманием: кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, а кто норовил и под кожушок рукою влезть.

Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехоты: «Гэть, москаль, гэть!», «Та що ж ты, скаженный, робышь?!», «Ну ж, ну ж! Ой, лыхо мэни!»

Но по всему было видно — не хотелось им так скоро отпускать москалей и нравилась им вся эта колготня вокруг них.

Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, как непросохший, затвердевший на морозе воротник обручем сдавливал шею, и шинелью снова жгло, пилило натертое место, да от холода ли, от заостеневшего ли воротника было трудно дышать, и мысли ровно бы загустели в голове, остановились, но сердце и жизнь, пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались своим чередом. До остановки было далеко, до горя и тоски чуть ближе, да лейтенант пока этого не знал. Он суетливо бегал вокруг машины, возбуждался с каждой минутой все больше, даже потрепал хохлушек. Очень он изменился за короткий срок. Прежде не только дотрагиваться, но и взглянуть вожаделенно на дивчин не решился бы.

— Мужаешь, Боря! — изумился Филькин.

Лейтенант собрался ответить шуткой же, но увидел Люсю. В наспех наброшенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях налетела она и принародно стала целовать Бориса, затем в машину забралась и солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала, — какие они ей сделались родные, — говори-

ла, — чтобы лейтенанта берегли, — наказывала, — чтобы Шкалику больше пить не давали...

Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали и громко требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытряхнул снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной ноге, смеялась сквозь слезы и что-то говорила, говорила...

— Храни тебя бог, дочка! — надев на нее туфлю, сказал Корней Аркадьевич, а Карышев поправил на ней платок и погладил по голове.

Машины двинулись резво, будто застоявшиеся кони. Борис притиснул Люсю к груди, надавил пряжкой полевой сумки ей нос, и какое-то время она чувствовала только эту боль.

— Лейтенант, лейтенант! — торопил взводного шофер. — Колонна уходит, а я маршрута не знаю.

Что-то с хохотом кричали солдаты с проходивших машин.

— Раньше бы хоть помолились, — сказала Люся, теребя отворот его шинели, — но мы же неверующие. Атеисты мы! Осталось только завывать во весь голос...

— Вот еще! Только этого и недоставало! — боязливо оглядываясь на машины, забормотал Борис и начал отстранять ее от себя. — Озябла! Ступай!

Он запрыгнул в кабину, саданул железной дверцей и тут же открыл ее, готовый повиниться за обиду, нанесенную ей. Но студебеккер рванулся с места в карьере, взводного вдавило в спинку сиденья. Люсю отбросило назад, заволокло дымом выхлопов, и она осталась в его памяти — потерянная и недоумевающая.

На машинах пели, ухали и подсвистывали сами себе солдаты. В истоптанном снегу еще дымились окурки, кружился над дорогой синеватый бус, а колонна

уже взнималась за местечком на косогор, и голова ее подползала к лесу.

— Адрес! — сорвалась и побежала Люся. — Батюшки! Адрес-то!

Оглушенная, растерянная, она мчалась следом за колонной. Да разве машины догонишь...

Люся остановилась обессиленная, задохнувшись.

Что мог значить какой-то адрес? Зачем он? Время помедлило, остановилось на одну ночь и снова побежало, неудержимо ведя свой отсчет минутам и часам человеческой жизни. Ночь прошла, осталась за кромкой народившегося дня. Ничего невозможно было поправить и вернуть. Все было и все минуло.

Мимо двигалась другая колонна. Бойцы показывали на снег, на хаты, на ноги женщины. Не в силах поднять руку и помахать им, Люся качалась всем телом будто в поклоне и твердила одно и то же:

— Войте скорее, миленькие!.. Живые будьте все...

Вернулась она домой полузамерзшая. Туфли на ней каменно стучали. На волосах лежал снег. Конец намокшей косы намерз и свинцовым грузилом бился на спине. Не раздеваясь, по-щенячьи подвывая, залезла Люся в постель, неосознанно надеясь, что там еще хранится тепло.

Хату заняли солдаты тыловой части. Псжилой, но молодеватый сержант постучал и вошел в дверь.

— Было открыто. Мы думали — хата брошена...

— Живите.

Страхивая туфли с ног, Люся пыталась натянуть на себя одеяло, прижаться к чему-нибудь и все протяжней завывала отверделым ртом и стучала зубами. В глазах ее, отдаленно темных, возник переменчивый блеск, будто искрила изморозь по сухим зрачкам, из которых выело зерно, и они сделались пустотелыми.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

**УСПЕНИЕ**



А жизни нет конца  
И мукам — краю.

*Петрарка*

Подбирая изодранный белый подол, зима поспешно отступала с фронта в северные края. Обнажалась земля, избитая войною, и лечила самое себя солнцем, талой водой, затягивала рубцы и пробоины ворсом зеленой травы. Распускались вербы, брызнули по косограм фиалки, заискрилась мать-мачеха, подснежники острой пулей пробивались наверх. Потянули через окопы отряды птиц, замолкая над фронтом и сбивая строй. Скот выгнали на пастбища. Коровы, козы, овечки выстригали зубами еще мелкую и низкую траву. И не было возле скотины пастухов, а все пастушки школьного и престарелого возраста.

Ветры дули теплые и мокрые. Тоска настигала солдат в окопах, катилась к ним в траншеи вместе с талой водой.

В эту пору и отвели, побитый в боях, стрелковый полк на формирование. И как только отвели и поставили его в резерв, к замполиту полка явился выветренный, как вобла, лейтенантишко — проситься в отпуск.

Замполит сначала подумал — лейтенант его разыгрывает, шутку какую-то придумал, и хотел прогнать взводного, однако бездонная горечь в облике парня удержала его.

Стал разговаривать со взводным замполит, а поговоривши, и сам впал в печаль.

— Та-ак, — после долгого молчания протянул он, дымя деревянной хохлацкой люлькой. И еще протяжной повторил, хмурясь: — Та-а-ак. — «Взводный как взводный. И награды соответственные: две Красные Звезды, одна уж с отбитой эмалью на луче, медаль «За боевые заслуги». И все-таки было в этом лейтенанте что-то такое... Мечтательность в нем угадывалась, романтичность. Такой народ, он порывистый! Этот вот юный рыцарь печального образа, совершенно уверенный, что любят только раз в жизни и что лучше той женщины, с которой он был, нет на свете, — возьмет да и задаст тягу из части без спросу, чтобы омыть следами грудь своей единственной...

«Н-да-а-а-а! Умотает ведь, нечистый дух!» — горевал замполит, жалея лейтенанта и радуясь, что не выбило в человеке человеческое. Успел вот когда-то вториться, мучается, тоскует, счастья своего хочет. А если потом в штрафную...

Смутно на душе замполита сделалось, нехорошо. Он поерзал на скрипучей табуретке и еще раз крепкой листовухой набил люльку. Набил, прижег, раскочегарил трубку и совсем не по-командирски сказал:

— Ты вот что, парень, не дури-ка!

Тоска прожигала глаза лейтенанта. Никакие слова ничего не могли повернуть в нем. Он что-то уже твердо решил, а что он решил — замполит не знал, и повел разговор дальше: про дом, про войну, про второй фронт, надеясь, что по ходу дела что-нибудь сумеет обмозговать.

— Стоп! — замполит даже подпрыгнул и по-футбольному пнул табуретку. — Ты в рубашке родился, Костяев! И тебе везет! Значит, в карты не играй, раз в любви везет!.. — Он вспомнил, что политуправление фронта собирает семинар младших политруков. По-

сколько многих политруков в полку выбило за время наступления, решил он своей властью отрядить в политуправление взводного Костяева и впоследствии, может быть, сделать его политруком в батальоне: парень молодой, начитанный, пороху нюхал.

— Дашь крюк, но к началу занятий чтобы, как штык! Суток тебе там хватит?

— Мне часа хватит. — Лейтенант как будто и не обрадовался. Терпел он долго, минуты своей ждал. И чего сколько в нем за это время перегорело...

— Давай адрес. Надо ж документы выписать.

— А я не знаю адреса.

— Не зна-а-аешь?!

— Фамилию тоже не знаю. — Лейтенант опустил глаза, призадумался. — Мне иной раз кажется — приснилось все... А иной раз — нет...

— Ну, ты силе-о-о-он! — с еще большим интересом всмотрелся в лейтенанта замполит. — Как дальше жить-то будешь?

— Проживу как-нибудь.

— Иди давай, антропос! — безнадежно махнул рукой комиссар. — Чтобы вечером за пайком явился. Помрешь еще с голодухи...

О чем он думал? На что надеялся? Какие мечты у него были? Встречу придумал, — как все получится, какой она будет, эта встреча?

Приедет он в местечко, сядет на скамейку, что неподалеку от ее дома стоит, меж двух тополей, похожих на веретешки. Скамейку и тополя он запомнил, потому что возле них видел Люсю в последний раз. Он будет сидеть на скамейке до тех пор, пока не выйдет она из хаты. И если пройдет мимо... Он тут же встанет, отправится на станцию и уедет. Но он все-таки уверил себя — она не пройдет. Остановится. Она спро-

сит: «Борька! Ты удрал с фронта?» И, чтобы поугагать ее, он скажет: «Да, удрал! Ради тебя, ради тебя, дезертировал!...»

И так вот сидел он на скамейке под тополями, выбросившими концы клейких беловатых листочков, запленный от сапог до пилотки, и ждал. Люся вышла из дому с хозяйственной сумкой, надетой на руку, закрыла дверь. Он не отрываясь смотрел, как она идет. Диво дивное! В том же платье желтеньком, в тех же туфлях. Только стоптались и сбились на носках туфли, и на платье уже нет черных лент, а нарукавнички отлиняли, крылья их мертво обвисли. Люся похудела. Тень легла на глаза, коса уложена кружком на затылке, старше, строже сделалось лицо ее.

Она прошла мимо.

Ничего уж не оставалось более, как подаваться на станцию, скорее вернуться в часть, тут же отправиться на передовую и погибнуть в бою...

Но Люся замедлила шаги и осторожно, будто у нее болела шея, повернула голову:

— Борька?!

Она подошла к нему, дотронулась, пощупала медаль, ордена, нашивку за ранение, провела ладонью по щеке, услышала колючесть ершистой растительности.

— В самом деле Борька!

Так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам лейтенанта и самым языческим манером припала к его обуви, исступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги...

\* \* \*

Но ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый полк не отводили на переформировку, его пополняли на ходу, и Борис, теряя людей, не успевая к иным

солдатам даже и привыкнуть, топал и топал вперед со своим взводом и оказался уже в Западной Украине.

По весне снова заболел куриной слепотой Шкалик, отослан был на излечение и оставлен работать при госпитале, чему взводный радовался. Да вот днями прибыл на передовую Шкалик, сияет — к своим, видите ли, попал.

...Между тем наступление продолжалось, хотя и шло уже на убыль. Части переднего края вели бои местного значения, улучшали позиции перед тем, как стать в долгую оборону.

Из штаба полка было приказано взводу Костяева разведать хутор и, если возможно, захватить высоту справа от него, и закрепиться. Мохнаков целый день торчал в ячейке боевого охранения с биноклем — высматривал, вынюхивал и ночью, тихонько ликвидировав ракетчиков и боевое охранение немцев, пробрался с отделением автоматчиков в хутор, поднял невообразимый гам и пальбу такую, что хутор фашисты в панике оставили и высоту тоже.

Стрелки забрались в избы, от которых тянулись ходы сообщений на высоту, и блаженно радовались тому, что копать не надо. На высоте брошен был живехонький еще наблюдательный пункт, даже печка топилась в блиндаже, и телефон был подсоединен. «Гитлер капут!» — орали в телефон бойцы. С другой стороны им отвечали: «Руссиш швайне!» Вырывая друг у дружки трубку, удачливые автоматчики лаяли немцев, дразнили их и пели похабные песни.

Поверженный противник не выдержал полемики и телефон свой отцепил, пообещав сделать русским иванам «гросс капут». Тут как тут явились на отвоеванный НП артиллеристы и выперли веселую пехоту из уютного блиндажа. Коря артиллеристов, всегда, мол,

мордатые заразы лезут на готовенькое, стрелки подались в хутор и начали варить картошку, возбужденно рассказывая друг другу о том, как остроумно беседовали с фрицем по телефону.

Для взаимодействия и связи с артиллеристами на высотке остались Мохнаков и Карышев. Утром установлено было, что весь скат высоты и низина за огородами хутора, да и сами огороды, с зимы минированы — еще один оборонительный вал немцы сооружали.

Около полудня появился в поле боец и попер напропалую по низине.

— Кого это черти волокут? — Карышев приложил ко лбу руку козырьком.

Старшина повернул стереотрубу, припал к окулярам.

— Сапер запыхивает, — почему-то недобро усмехнулся он и еще что-то хотел добавить, но в низине хлопнуло вроде бы как дверь в пустой избе, подпрыгнула и рассыпалась травянистая кочка, выплеснулся желтый дымок.

— А-а-ай, мамочка-а-а! — донеслось до окопа, и Карышев, тужась слухом, всполошенно хлопнул себя по бокам:

— Тошно мне, это ведь Пафнутьев! — И заругался: — Какие тебя лешаки сюда тащили, окаянного?

— А-а-ай! А-а-ай! Помоги-и-и-ите-е-е! Помоги-и-ите-е-е!

Карышев перестал ругаться, засопел и мешковато полез из окопа. Старшина схватил его за хлястик шинели.

— Куда прешь, дура! Жить надоело?

Старшина обшарил в артиллерийскую стереотрубу всю низинку. Была она в плесневелых листьях, на кочках серели расчесы вейника, колоски щучки и белоуса,

под которыми уже обозначились беловатые всходы калужника и прокололись иголки свежего резуна. В кочках, разбрызгивая воду и грязь, бился Пафнутьев и все кричал, кричал, а над ним заполошно крутился и свистел болотный кулик.

— Будь здесь! — наказал старшина Карышеву.

Мохнаков отполз за высотку, поднялся и, расчетливо осматриваясь, выверяя каждый шаг, будто на глухарином току, двинулся в заболоченную низину. Его атаковали чибисы, стонали, вихлялись возле лица.

— Кшить, дураки! Кшить! — старшина утирал рукавом пот со лба и носа. — Рванет, так узнаете!

Он добрался до Пафнутьева, вытянул его из грязи. Ноги Пафнутьева до пахов были изорваны противопехотной миной. Трава от взрыва побелела и пахла порченным чесноком. Мохнаков неожиданно вспомнил, как дочка его, теперь уже невеста, отведавши первый раз в жизни колбасы, всех потом уверяла, что чеснок пахнет колбасой. Дети, семья так редко и всегда почему-то внезапно вспоминались Мохнакову, что он непроизвольно улыбнулся этому драгоценному озарению, а Пафнутьев перестал кричать, испугавшись его улыбки.

— Не бойсь, — буркнул Мохнаков. — На вот, кури. — Засунув сигарету в рот солдата, старшина хлопал себя по карманам — спички где-то обронил. Пафнутьев суетливо полез в нагрудный карман: там у него хранилась знатная зажигалка.

— Возьми зажигалку на память.

— Упаси нас бог от твоей памяти.

Перевязывать было много и неловко. Старшина вынул из кармана еще один пакет, разорвал зубами. Пафнутьев все причитал.

— Не ори! В ушах аж сверлит! — прикрикнул старшина. — Люди на войне братством живы, так-то...

— Выташшы, Николай Василич! Ребятишки у меня, Зойка. Сам семейный... Всю жизнь... молить всю жизнь...

В траншее наладили носилки из жердей и плащ-палатки. Перед тем, как унести Пафнутьева из окопа, влили ему в рот глоток водки. Он поперхнулся, открыл захлестнутые плывущим жаром глаза, узнал Бориса, Карышева и Малышева.

— Простите, братцы! — Пафнутьев отвалился на носилки, прикрыл лицо рукой. Кадык его, покрытый седой реденькой щетиной, заходил челноком.

Карышев и Малышев подняли носилки. Борис проводил их взглядом до низинки. Старшина чего-то недовольно бубнил, оттирая гимнастерку и штаны.

\* \* \*

Досадный был кум — пожарник Пафнутьев, притчеватый, как называли его алтайцы, и пострадали за него, притчеватого.

Доставив Пафнутьева живым до санбата, они возвращались на передовую и уже подходили к хутору, утомленные ношей, утратившие осторожность, как вдруг, без эха, ударил выстрел. Карышев сделал шаг, второй, ощущая в душе благодать деревенского вечера. Это не выстрел, нет, это с отяжкой щелкнул бичом деревенский пастух, гнавший из-за поскотины, с первой травки, залежавшихся в зимних парных стойках коров. Ноги солдата уже подламывались в коленях, а он все еще видел избы, тополя, резко очерченные в предсумерье; жиденькую, еще не наспелую вечерницу — зорьку с прозеленью, и вдруг уперся взглядом в передовую линию — ремень траншей стеганул его по глазам, и все вокруг стало на ребро, опрокинулось на Карышева: дома, деревья, небо...



— Ку-у-ум! — дико закричал Малышев, подхватывая рухнувшего земляка.

— Западите! Западите! — повторяя, бежал по траншее Мохнаков. Карышев и Малышев — опытные вояки, поняли его, запали в кочках, чтобы снайпер не добил их.

Пуля угодила Карышеву под правый сосок, искоренив угол гвардейского значка. Он был еще жив, когда его доставили в хуторскую избу, но нести себя в санбат не разрешил.

— Уби-тый я, — проговорил он, прерывисто сглатывая воздух.

Малышев старался подложить под голову и спину Карышева чего-нибудь помягче, чтобы тому легче дышать было, вытирал ладонью вспыхивающую на губах друга красную пену и все насылался:

— Попьешь, может, кум? Может, чего надо? Ты не терпи, ты спрашивай... — Губы Малышева разводило, и лицо его было серое, а лысина почему-то грязная. Весь он сузился, исхудал разом, и сделалось особенно заметно, какой он пожилой человек. Борис махнул рукой, чтобы бойцы уходили из избы, и все понуро ушли. Встав на колени перед Карышевым, взводный поправил солому под ним и затаил, не зная, что сказать и сделать. По хате поплыл тонкий, протяжный звук, будто телефонный зуммер. Это Малышев зашелся в плаче и старался придавить его в себе, но ничего не получалось у солдата.

Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту «прощай», и перевел взгляд на кума. Борис понял — ему надо уходить. Распрямылся взводный и не услышал под собою ног.

— Моих-то, — прошептал Карышев.

— Да об чем ты, об чем!.. Не сумлевайся ты в смертный час, — по-деревенски пронзительно запричитал Малышев. — Твоя семья — моя семья... Да как же мне жить-то теперяча-а-а! Зачем мне жить-то?..

Борис шагнул в темноту, нащупал перед собою стойку или столб, уперся лбом в его холодную твердь и, ровно бы грозя кому, повторял: «Так умеют умирать русские люди! Вот так!..»

В хуторе тихо. За хутором реденько и меланхолично всплывали ракеты, выхватывая мертвым светом из темноты кипы садов, белые затаившиеся хатки и уткнувшиеся в небо утесами придорожные тополя.

— Преставился.

Борис прижал Малышева к себе и почему-то начал гладить его по голой, прохладной голове. Шумно работая носом, Малышев рассказывал, как жили они душа в душу с кумом до фронта; женились в один день, в колхоз записались разом. Бывало, загуляют, так кум домой утайкой волокется, а он, Малышев, дурак такой, орет на всю улицу: «Отворяйте ворота, да пошире!..»

Ночью без шума, без лишней возни, под звездами схоронили Карышева, сделали крест из жердей, и последний приют алтайского крестьянина как-то очень впору пришелся на одичалом хуторском западноукраинском погосте, реденько заселенном разномастными крестами и камнями с непонятной вязью слов, придавившими чьи-то древние могилы. Кусты бузины клубились на закрайках погоста, низкий колючий терновник, уже набравший цвет, окаймлял его вместо ограды. С единственного старого дерева, стоявшего среди могил, шархнула в темноту зловещая птица.

На этом же кладбище были три свежих креста с надетыми на них рогатыми касками. Малышев, возвра-

щаясь в хутор, с глухим рычанием бросился на топовые кресты, пустившие побеги, выворотил их и побросал за ограду, туда же запустил и ржавые каски, и они громко звякнули в темноте.

Не отбив сгоряча, дуриком у них взятую высотку, немцы бросили в атаку танки. Артиллеристы ударили по танкам, один повредили, а остальные рванули к окопам и достигли высотки. Пэтээрщики, побухав из ружей по лобовой броне танков, пали на дно ячеек, носом в грязную землю.

Танки навалились уютжить траншею. Старшина Мохнаков не отрывался от стереотрубы.

Окутанный пылью, резво брэнча левой ослабевшей гусеницей и покачивая пушкой с надульником, лез к наблюдательному пункту старый танк. На лобовой броне его взблескивали цапины, пестрая краска отваливалась лоскутьями, как старая шкура со змеи, свежий шов электросварки тянулся по поддону от переднего люка.

Давно воюет этот танк, умелый в нем водитель, маневрирует смело, в пыль прячется, боков не подставляет. Такой танк пускать через окопы нельзя — за десяток наработает!..

«Запыживай, паря!» — Мохнаков надел вещмешок за спину, затянулся в последний раз от толстой сигарки, притопал окурок, и выпрыгнул из окопа. Он подпустил машину так близко, что водитель отшатнулся, увидев в открытый люк вынырнувшего из дыма и пыли человека. И старшина увидел оплавленное лицо водителя в детской розовой коже — бровей и ресниц у него не было. Горел водитель, и не раз горел.

Они глядели друг на друга всего лишь мгновение, но по предсмертному ужасу, мелькнувшему в водянистых глазах водителя, не трудно догадаться было —

немец все понял: этот русский с тяжелым ссохшимся лицом идет на смерть.

Танк дернулся, затормозил. Но Мохнаков уже нырнул под гусеницу, и она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросило аж в траншею.

А там, где ложился старшина Мохнаков под танк, — осталась воронка с испепеленной по краям землю и черными стерженьками стерни. Тело старшины вместе с выгоревшим на войне сердцем разнесло по высотке, туманящейся с солнечного бока зеленью.

В полевой сумке Мохнакова, оставленной на НП, обнаружили награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях. Адрес: «Райцентр Мотыгино, улица Мыльная, номер дома...»

Но через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. Он почти сутки еще просидел в земляной норке на изопревшей соломе, баюкая прибинтованную к туловищу руку, налитую синенькой краской и клейковато заблестевшую. Замениться нечем — старшины не стало, младших командиров выбило за весеннее наступление, Ланцова Корнея Аркадьевича забрали в армейскую газету. Из старых солдат остались во взводе Малышев и Шкалик.

Усталые, издерганные боями, вымазанные окопной глиной, солдаты, большей частью вернувшиеся из госпиталей или собранные по украинским селам, из-за распутицы питающиеся чем попало, привычно и безропотно вели свои будничные фронтовые дела, изредка заглядывая ко взводному в норку, и не за распоряжениями, а просто узнать — не надо ли чего ему?

Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок,

оставил на тряпочке рваную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплему ободку и частыми глотками отхлебывал кипяток, заправленный лежалыми буряками. Лепешка хрустела на зубах. Солдаты толкли прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу домалывал Борис зубами затхловатое, крупнодробленое, склеенное в лепешку, зерно, заставляя себя изжевать ее всю, до крошечки, — солдаты оторвали от себя последнее — уважать фронтовое братство он научился.

Промочив спекшееся горло остатками свекольного чая, он свернулся в сырой щели. Трудился какой-то жук-землерой, оживший после холодов. Комочки сыпались Борису на лицо, закатывались в ухо.

Наутро неистребимый, заросший малопородистой бородою, командир роты Филькин привел во взвод пополнение — человек пятнадцать солдатиков двадцать пятого года рождения и с ними младшего лейтенанта, только что прибывшего из уральского военного училища.

Борис распрощался со взводом, пожелал новому командиру с комсомольским значком на гимнастерке долгой жизни и дружбы с солдатами.

Филькин обнял взводного, по спине похлопал:

— Я буду ждать тебя, Боря.

В дороге лейтенанта нагнала повозка. На ней стоял, бойко мотая вожжами, Шкалик, отъездивший в госпитале, очень всем довольный, особенно тем, что сумели солдаты раздобыть повозку — выбросили пустые ящики, столкнули наземь ездового и велели догонять раненого товарища командира.

С радостью забрался лейтенант в повозку, ткнулся лицом в мышами пахнущую солому. Его подбрасывало на выбоинах и катало по повозке, когда она зава-

ливалась в глубокие, танками прорытые, колдобины, но он все равно дремал, отупев от боли и усталости.

Шкалик, чмокая губами, шлепал кривоногую лошадь вожжами по бокам и все рассказывал, как они ловко заполучили повозку и как повозочный хватался за оружие, но потом, когда ему дали лепешек и чаю из буряков, а товарищ командир роты угостил легким табаком, повозочный утешился.

В грязном, размешанном логу повозка завязла. Борис пробовал помочь Шкалику, да силенок у того и у другого оказалось маловато. Шкалик крикнул: «Я час, товарищ лейтенант!» — и прытко побежал впереди лошади, дергая ее за узду.

Лошадь, скрипя колесами, пошла в объезд, миновала бочажину, затрещала кустами. Борис, уронив голову, сидел по другую сторону лога, навалившись на ствол ветлы, изорванной колесами. Внезапно ударило пламя, развалило все вокруг грохотом, за клубился кислый дым. Кашляя, давясь удушьем, взводный слепо ринулся в лог. Перед ним, ломая чащу, упало и покатило колесо от телеги; из редеющего дыма выпадало и шлепалось в грязь что-то мягкое, ударяя в голову запахом парной крови и взрывчатки...

Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, окопный командир, ванька-взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вон же они, рядом стоят дощечки с намалеваным черепом — ограждение минеров. Что это с ним? Почему отерпло и притупилось в нем все, чем держится человек в этой жизни?

— Бедный, бедный мальчик! — сказал, а может, подумал, Борис и потер распухшие, зудящие веки. Не зная, что делать, постоял еще, оглядываясь по сторонам, словно бы запоминая это безлюдное, неприметное

место, истерзанное колесами, воронками, и побрел лесом в санбат, надсаженный, полуглухой.

Больно ему было от раны, ело глаза окисью взрывчатки, а страдания в сердце не было. Привык. Ко всему привык, притерпелся. Только там, в выветренном, почти уже пустом нутре поднялось что-то, толкнулось в грудь и оборвалось в устоявшуюся боль и дополнило ее свинцовой каплей.

Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее.

В санбате оказалось народу густо. Офицеров на перевязку вызывали вперед. Но Борис по окопной привычке ваньки-взводного — везде быть с солдатами — забрался в общую очередь и все пропускал тех солдат, которые казались ему тяжелее его ранеными.

На стол он попал спустя сутки.

Неповоротливая и молчаливая медсестра не стала отмачивать ссохшиеся рыжие бинты, а отодрала их, как фанеру, с плеча Бориса, промакнула тампоном ударившую кровь из раны, дала ему белую таблетку. Бориса начало укутывать кудельно-волокнустым сном.

Врач в старомодных очках с позолоченной оправой, за которой остро и сердито мерцали влажные глаза, расшевелил Бориса, постукав его по плечу кулаком, и спросил, где отдается боль. Борис отдаленно и вяло сказал: «Не знаю», потому что боль отозвалась везде. Врач озадаченно глянул на больного, проворчал:

— Наклюкаться где-то успел, сердечный, — и потыкал в рану зондом.

Кровь потекла бойчее, защекотала струйкой спину, живот. Бориса понесло со стола. Ему сделали укол, потерли виски нашатырным спиртом и разрежали плечо накрест.

Через неделю, от силы через две, завершила лейтенанта старшая сестра санбата, он снова будет в строю. Что-то тут не так — ранение в плечо простым не бывает, при нем ни тряхнуться, ни ворохнуть — болит все. Да пусть — не все ли равно, где валяться, лишь бы покойно было. Борис не горлопанил, не ругался, эвакуации не требовал, а, привыкнув к боли, лежал в палатке или ехал в санбатовской машине, смотрел в небо, и жалостный, устойчивый покой пеленал его младенческой полудремою.

В солнечный незнойный день, когда из лесу тянуло снегом, а из логов, где еще серели обмылки сугробов, — талой водой и горьковато-медовым запахом цветущей ивы, Борис выполз из палатки в бельишке, зашитом на животе, и, бросив чиненое одеяло, опустился на него. Он сидел, прислонившись к чешуйчатому стволу дерева, названия которого не знал, и мирно ему было. Деловито жужжа, вспыхивая крыльями на солнце, полосоми тянули пчелы и оседали на распутившийся ивняк. Ивы гудели и шевелились от пчел, казалось, курились они, разбрасывая искры по сторонам.

Под хмельное гудение пчел, переклик пичужек, возившихся над головой, под трещание аиста, который ходил по полю, пьяно качаясь, замирая на одной ноге, пуская клювом автоматные очереди в небо, под умиротворенный весенний шум, совсем не похожий на буйство вешней Сибири, Борис задремал.

Он слышал все звуки, чувствовал, как холодит сквозь одеяло еще только сверху отмякшая земля, токи ее слышал, рост нарождающейся травы и в то же время ровно бы ничего не слышал, ровно бы все, что происходило вокруг, было не в нем, а в другом каком-то человеке.

Что-то легко коснулось руки, защекотало ее. Борис



разлепил глаза. По запястью ползла узорчатая бабочка и с серьезностью молодого фельдшера ощупывала усиками зашелушившуюся от мыла кожу.

Борис глядел, глядел на сторожкую бабочку и увидел черные крылышки на рукавах желтого платья, окно в морозных узорах...

— Лю-у-у-у-а-а-а!

Бабочка сорвалась с руки, села на синеватую былку нераспустившегося цветка.

— Лю-у-у-у-а-а-а-а-а!

Бабочка прилипла к голотелому стеблю, похожему на бескровную человеческую жилу, дышала крыльями, готовая вот-вот взлететь.

— Больной, ты не видел Люсю?

Борис, глупенько улыбаясь, уставился на коротконогую женщину с новым цинковым ведром на сгибе руки.

— Повариху не видел, спрашиваю?

Он силился что-то понять.

— Ты чего, совсем уж ослабоумел? Повариху не помнишь, которая тебя каждый день по три раза стелует?

Бабочка успела улететь.

— Ничего я не помню, — с досадою сказал лейтенант.

— Оно и видно. — Женщина покатила на коротких ногах к ручью, заорала еще громче: — Лю-у-у-у-а-а-а! Куда тебя черти унесли?

«Люся, куда тебя черти унесли? — Борис ткнулся лицом в пахнущее больницей одеяло. — Лю-у-у-у-а-а-а! Да была ли ты, Люся? Была ли?!!»

Он грудью ощущал, как из земли равнодушно текло в него едва ощутимое ее дыхание, и тоска его, и слабый бунт — не помеха, не помога земле. Она занята

своим вековечным делом. Она на сносях, готовится рожать и, как всякая роженица, вслушивается только в себя.

На очередном обходе главный врач санбата осмотрел Бориса, поворачивая его то передом, то задом, постучал кулаком под правой лопаткой и, заметив, что лейтенант сморщился, сурово спросил:

— Болит?

Борис опустил голову:

— Болит.

Врач через очки, бодуче смотрел на него, неторопливо свертывая кровянисто-багровые жилы фонендоскопа на руку:

— Подзадержались вы у нас, подзадержались...

Борис уловил в голосе врача неприязнь и плохо спрятанное подозрение. Послышалось угодливое хихиканье той самой коротконогой санитарки, что искала повариху Люсю.

— У нас тут не курорт, а санбат! У нас каждое место на счету... — напористо заговорила старшая сестра, святоликая женщина, с милосердными глазами, так опрометчиво определившая лейтенанту две недели на излечение, а он вот не оправдал ее надежд, лежит и лежит себе.

Распятый на казенной койке, лейтенант беспомощно улыбался. Вот ведь оказия какая! Выходит, он занимает чье-то место, понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом и так вот запросто живет, тогда как настоящие люди сражаются в это время, умирают за него...

Сдерживая занявшуюся ярость, Борис негромко сказал:

— Так выбросьте меня...

Сестру, избалованную лестью, властью и мужским

вниманием, передернуло. У врача смятенно забегали глаза. Немолодой, заезженный войною, врач этот побаивался старшей сестры по известным всему санбату причинам. Не одного еще такого вот мямлю мужика обрадует такая вот святоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на жительство, разведет его с семейством, увезет с собой после войны в южный городок, где сытно и тепло, да и помыкать простофилей будет еще лет десять — двадцать, пока тот не помрет с надсады.

— Я не хочу вашего двоедушного милосердия! — глядя прямо в надменный лик сестры, отчетливо произнес Борис и, вовсе уже задушенный яростью, добавил: — Уходите! Иначе я сорву с себя ваши бинты...

— Попробуй! — начала старшая сестра.

— Уходите!..

Врач, умоляюще глядя на старшую сестру, теснил следовавшую за ним челядь к двери.

— Успокойтесь, успокойтесь!..

— Привязать этого героя к койке! Сделать укол! — громко, чтобы слышно было раненым в других палатках, объявила старшая сестра.

«Господи! Это — женщина?!» — чувствуя, как опадает гнев, опустошенно спрашивал себя Борис.

— Вот, достукался!.. — проворчал кто-то из раненых. — Через тебя и нам жизни не даст эта пепеже в халате белом.

— А ну, герой!

С Бориса сдернули одеяло. Дежурная сестра наполненным шприцем целилась в него, сжимая в пальцах левой руки смоченную ватку. Лейтенант покорно подставил себя под укол.

— Не надо привязывать. Пожалуйста.

Украдкой прикрыв его одеялом, дежурная сестра громко сказала в приемной палатке, что все она ис-

полнила, как велено было. Так-то, мол, оно надежней, распустились, мол, эти раненые, спасу нет.

Уже отмякшим от укола, слипающимся сознанием Борис отметил: «Да-а, и это тоже женщина... Какой они разный народ!..»

Проснулся он вялый, совсем обессиленный. На улице крапал дождь, цыпушкой поклевывая палатку. Дальний шум леса слышался, шуршание ползущего по оврагам снега, голос кукушки...

Поздней ночью в палатку завернул врач. Был он в шинели, в пилотке, осевшей до ушей. Голенища сапог на нем глянцевито блестели, к мокрым передкам пристали прошлогодние истлевшие листья. Отчего-то все обостренно видел и слышал после нервной вспышки Борис.

— Не спите? — Убрав полу сырой шинели, врач присел на кровать лейтенанта, протер очки и объявил сухо: — Я назначил вас на эвакуацию. У вас началось обострение. — После долгой паузы он покривил губы в беловатых шрамах: — Души и остеомиелиты в походных условиях не лечат. — И грустно добавил: — А милосердие, надо вам заметить, всегда двоедушно! На войне особенно...

Врачу хотелось поговорить, но Борис отчужденно молчал, дожидаясь, когда он уйдет. Дождь сгущался, стучал по палатке монотонно, однозвучно, усыпляюще.

— Развезет дорогу совсем, — вслух подумал врач и встал, горбясь в низкой палатке. — Вот что я вам посоветую: не отдаляйтесь от людей и принимайте мир таким, каков он пока есть, иначе вас раздавит одиночество. Оно страшнее войны...

На улице врач постоял. Донесло щелчок фонарика, вздох, и мягкие, расплзающиеся шаги поглотила ночь. Совсем хорошо сделалось в палатке, покойно.

Дождь и дыхание спящих раненых уплотняли этот покой. Борис смежил глаза и притих в себе.

Жажда жизни рождает неслыханную стойкость — человек может перебороть неволю, голод, увечье, смерть, поднять тяжесть выше сил своих... Но если ее нет, тогда все, значит, остался от человека мешок с костями. Потому-то и на передовой бывало: даже очень сильные люди вроде бы ни с того ни с сего начинали зарываться в молчание, как ящерицы в песок, делаться одинокими среди людей. И однажды, с обезоруживающей уверенностью объявляли: «А меня скоро убьют». Иные даже и срок определяли — сегодня или завтра. И никогда, почти никогда не ошибались...

\* \* \*

В вагоне санпоезда Борису досталась средняя боковая полка, против купе сестры и няни, занавешанного латаной простыней. Сестра и няня — две заезженные санпоездом девушки, ставили градусники утром и вечером, разливали в своем купе похлебку, накладывали кашу, делили хлеб, разносили посуду с горлышками и утешали раненых как могли. Общительная, небыдчивая и терпеливая ко всему няня по имени Арина пыталась разговорить и Бориса, но он отвечал односложно, выжимая при этом извинительную улыбку, и Арина отступилась от него, переметнувшись на более разговорчивых ранбольных.

Когда дрема покидала Бориса, он поворачивал голову к окну и видел, как пахут землю на быках и коровах женщины, как они сеют по-старинному, из лукошка, певучим взмахом руки разбрасывая зерно. Трубы печей и скелеты домов виделись среди пашен и перелесков. Потом пошли среднерусские деревни с серыми крышами, серой низкой городьбой из тонкого ча-

стокола и неровного камня. Лоскутья озими подступали к стенам скособоченных изб. Здесь уже бегали кое-где тракторы с сеялками, лошади, опустив головы до борозды, тянули плуги и бороны.

Вечный труд шел на вечной и терпеливой земле.

Внизу под Борисом лежал худющий пожилой дядька, перепоясанный бинтами, как революционный моряк пулеметными лентами. Он закоптил лейтенантика табаком, кашлял беспрестанно и с треском сморкался в подол казенной рубахи. Измаявшись лежать на брюхе, попросил дядька повернуть его на бок. Арина перекатила мослы раненого по полке. Он отстонался, отругался, глянул в окно и ахнул:

— Весна-а!.. Батюшки, тра-авка! А земля-то, земля! В чаду вся! Прееет! Гриб в назьме завелся! Хорошо... Ой, пигалица, пигалица! Летат, вертухается! Батюшки! И грач, и грач! По борозде шкандыбаает, черва ишшет, да сурьезный такой... Нашел! Нашел! Рубай его, рубай! Х-хосподи...

Дядька затрясся, заплакал и сделался с этого дня малохольеньким. Суп ел торопливо, проливал на подушку и простыню, остатки выпивал через край. Кашу и хлеб заглатывал заживо и снова прилипал к окну, хохотал, высказывался.

— И тут на коровах пашут! Захудала, Расея, захудала! Вшивец-Гитлер до чего нас довел, мать его и размать!..

— Оте-ец, оте-е-е-ец! — остепеняли дядьку соседи. — Сестра и няня здесь, женщины все-таки.

— А я че? Рази изругался? Вот мать твою...

Потешались над мужиком раненые. Он не обижался, а балаболит, вертелся на полке, кадил махоркой и заметно шел на поправку.

— Скоро я, скоро, бабоньки! — кричал дядька в

окно вагона, будто бабы, согнувшиеся над плугом, могли его слышать. — Вот оклемаюся в лазарете, и на пашню, на па-ашню-у-у! — Слово «пашня» он прямо-таки выстанывал. Дядька и Борису давал бодрый совет: — Ты, парень, не скисай! Имайся за травку-то, имайся за вешнюю. Она выташшыт! В ей знаешь какая сила! Камень колет! А это хто же, а? Хто же это?! Ключ-то кочергою?

— Кроншнеп это.

— Зачем птицу немецким словом обозвали? Кулик это! Кулик и все!

— Ну, кулик, кулик. Не лайся, ради бога!

— А я рази!?!.. Все! Все! Теленок-от, теленок-от! Взбрыкивает! Женить бы тебя, окаянного!..

Так вот и ехали под стук колес, под говор дядьки. Затемненные станции остались за Москвою. Реденько прокалывали ночь огоньки российских деревень, набегали россыпью станционные фонари, и вспышки их за окном были похожи на разрывы зенитных снарядов. Стук колес напоминал перестрелку, буханье вагонов по стыкам — разрывы бомб.

К звуку колес, к стуку, к гулу и бряку лейтенант скоро привык, и поезд для него тоже онемел. Он смотрел на мир как бы уже со стороны. «Зачем все это? Для чего? Ну что он, вот этот мужичонка, радующийся воскресению своему? Какое уж такое счастье ждет его? Будет вечно копать в земле и однажды сунется носом в эту же землю. А может, в самом воскресении есть уже счастье? Может, дорога к нему, надежда на лучшее — и есть то, что дает силу таким вот мужикам, миллионам таких мужиков».

Слезливость напала на лейтенанта. Он жалел раненых соседей, бабочку, расклеенную ветром по стеклу, срубленное дерево, худых коров на полях, испитых де-

тишек на станциях. Плакал сухими слезами о старике и старухе, которых закопали в огороде. Лиц пастуха и пастушки он уже не помнил, и выходило: похожи они на мать, на отца, на всех людей, которых он знал когда-то.

Раз Борис оживился, услышав, как под окном вагона осмотрщик кроет всех на свете, не выбирая выражений. Стучит молотком по крышке буксы и кроет, по-челдонски растягивая букву «Е». Нахлынуло: пристань, пропахшая соленым омулем, старая дамба, березы над нею, церкви с кустами на куполах и крестики стрижей в небе.

— Земля-ак! Землячо-о-ок! — сипло позвал Борис.

Арина, спавшая в купе, отодрала голову от стола, вытерла губы косынкой и подошла к Борису, положила ладонь на его лоб.

Губы лейтенанта светились, будто наляпаные алой краской на желтом картоне; глаза начищенно блестя, горя последним накалом, губы поплясывали — никак он не мог согреться: температура держалась у него высокая.

— Чем же тебе помочь, не знаю? — прошептала Арина и, что-то надумав, засуетилась, сбегала в топку вагона, налила в грелку воды, услужливо присунула ее к ногам.

— Спи, миленький. Злочастным, видать, ты уродился. Все люди как люди, а тебя что-то гнетет. — Арина похлопывала по одеялу, байкала его, как малое дитя, но убаюкалась сама. Губы ее приоткрылись, а веки беспокойно подрагивали и во сне. Доверчивостью веяло от этой девушки с приплюснутым носом, с соломенно-прямыми волосами, выбившимися из-под косынки на лоб.

Ничем не походила на Люсю эта простенькая из



простеньких станичная девушка, и все-таки она приблизилась к нему образ той женщины, которую память не удержала, сохранив лишь глубокие и невзрачно красивые глаза. До конца не понятая, до конца не увиденная, та женщина тоской остановилась в нем и тоска эта красной и жаркой корью пекла его душу.

Выпростав руку из-под одеяла, Борис с любопытством притронулся к Арине.

— Вот уходилась — стоя сплю! — испуганно отпрянула Арина.

— Ты минуту-две и спала всего.

— А-а. Как птичка божья — ткнулась и готово. Ты, оказывается, разговаривать умеешь?! Какая печаль-то у тебя?

— Не знаю. Ничего не знаю. Просто тут, — показал на грудь Борис. — Выболело... — Мелкий кашель встряхнул его, защекотало нутро.

Арина попоила лейтенанта из кружки. Кашель унялся, но дыхание его рвалось.

— Ладно, молчи уж, молчи, — сказала няня, укрывая лейтенанта. — Кашель-то какой нехороший.

На большой дымной станции, где сдавали работники санпоезда белье, запасались продуктами, топливом и разным другим снаряжением, Борис вышел из забытья еще раз, услышав музыку, доносившуюся с крыши насупленного, темного от копоти вокзала. Он напрягся. Чумазный вокзал с облупленными стенами, черные, грязные пути и грачи на черных тополях, и вагоны, и дома незнакомого города, раскиданные по пригоркам, и люди с голодной тупостью в глазах — все начало окрашиваться в сиреневый цвет. Погружаясь в него, молодец, обновлялся, делался приглядней мир, а из станционного дыма вдруг явилась женщина с фанерным чемоданом, та единственная женщина, кото-

рую он уже с трудом, по глазам только, и узнавал, хотя прежде думал, что в любой толпе, среди всех женщин мира смог бы сразу узнать ее.

Женщина смотрела в окно санпоезда, встретилась взглядом с его глазами. Дрогнуло лицо ее — она шагнула к поезду, но тут же отступила назад, и уже без интереса пробегала взглядом по другим окнам, другим поездам.

Сила, ему уже не принадлежавшая, подбросила Бориса. Арина о чем-то спрашивала лейтенанта, трясла его, а он тянулся к окну вагона, мычал и от усилия закашлялся. Музыка он уже не слышал — перед ним лишь клубился сиреневый дым, и в загустевшей глубли его плыла, качалась, погружаясь в небытие, женщина с иконописными глазами.

Очнулся он от прохлады. Шла весенняя гроза. Толчками, свободно дышала грудь, будто из нее выдувало золу, и делалось сквозно и совсем свободно внутри. Весенняя гроза гналась за поездом, жала молний втыкались в крыши вагонов, пузыристый дождь омывал стекла. Впереди по-ребячьи бесшабашно кричал паровоз, в пристанционных скверах, мелькавших мимо, беззвучно кричали грачи, скворцы шевелили клювами.

Сердце лейтенанта, встрепенувшееся от грозы, успокаивалось вместе с нею и вместе с уходящими вдаль громами, билось тише и реже, тише и реже. Поезд оторвался от рельсов и плыл к горизонту, в нарождающийся за краем земли тихий и мягкий мрак — он тоже уходил в небытие.

Не желая останавливаться, сердце еще ударилось сильно — раз, другой — в исчахлую, жестяную грудь и выкатилось из нее, булькнуло в бездонном омуте за окном вагона. Тело Бориса выпрямилось, замерло. Под опустившимися веками еще какое-то время теплилась

багровая и широкая степная заря, возникшая из-под грозовых туч. Свет зари постепенно сузился в щелочку, а потом и заря остыла сыспотиха в остекленевших зенитах лейтенанта.

Утром Арина подошла умывать Боркса, а он лежит, сморщив рот в потаенной улыбке. Попятилась, закричала Арина, уронила кувшин с водой, бросилась бежать по вагону и торнулась в тамбурное стекло, забыв повернуть ручку двери.

Покойного перенесли в хозвагон, поместили в холодильное помещение. Прикрытый палаткою, среди полениц дров, среди ящиков, старых носилок и прочего скарба ехал он целую ночь по степи. В безлесом Южном Приуралье кто-то вынул из букс паклю на растопку. Буксы загорелись, ось заклинило, и осмотрщик мелом написал на вагоне: «Больной». Его отцепили на маленьком полустанке.

При вагоне оставили Арину, чтобы она похоронила здесь покойного лейтенанта и с отремонтированным вагоном дожидалась санпоезда из обратного рейса.

Покойник оказался и в самом деле несуразным: остался в таком месте, где нет кладбища. Если кто умирал на полустанке, его отвозили в степное село.

Начальник полустанка сказал, что земля в России всюду своя, сделал домовину из досок, снятых с крыши сарая, пирамидку заострил из старого сигнального столбика, и двое мужчин — начальник полустанка и дежурный оператор — да Арина отвезли лейтенанта на багажной тележке в степь и предали земле.

Закончив погребение, мужчины стянули фуражки и скорбно помолчали над могилой фронтовика. Арина, или винясь за что-то перед ним, или пронзенная печальной минутой и бедным похоронным обрядом, горестно покачала головой:

— Такое легкое ранение, а он умер...

Они собрали лопаты и ушли, толкая впереди себя тележку.

Арина все оглядывалась, ровно бы на что-то еще надеясь, и утирала глаза рукой, измазанной землею.

Могильный холм скоро окропило травкою, и в одно дождливое утро просек свежие комки тюльпан, подрожал каплею на клюве и открыл розовый рот. Корни жилистых степных трав и цветов ползли в глубь земли, нащупывая мертвое тело, уверенно оплетали его, росли из него и цвели над ним.

\* \* \*

...И, послушав землю, всю уже засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полыни, она виновато сказала:

— А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам.

Низко склонившуюся над землей седую женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало поросшей семя. Солнце катилось за горбину степи, все так же катила небо заря, и, слушая степь, она почему-то решила, что он умер вечером. Вечером так хорошо умирать.

Закат неторопливо гас. Сок его по жилам трав скатился в землю. Сухо и чисто зашелестела степь. Скакало что-то на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже заметный свет. Это вырвало и гнало ветром куст до тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.

— Господи! — вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли.

Костлявый татарник робкой мышью скребся о пирамидку. Покой окутывал степь.

— Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас.

Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакеном пирамидка, и зыбко было все в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один — посреди России.

1967—1971



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Часть первая. БОЙ . . . . .	7
Часть вторая. СВИДАНИЕ . . . . .	29
Часть третья. ПРОЩАНИЕ . . . . .	93
Часть четвертая. УСПЕНИЕ . . . . .	119

**Астафьев Виктор Петрович**

**ПАСТУХ И ПАСТУШКА**

**СОВРЕМЕННАЯ  
ПАСТОРАЛЬ**

**Редактор Н. Вагнер**

**Художественный редактор И. Чичкин**

**Технический редактор В. Чувашов**

**Корректоры Л. Крамаренко,  
З. Капелькина**

Сдано в набор 24/XI 1972 г. Подписано в печать 2/III 1973 г.  
Формат бум. тип. № 2 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Вум. л. 2,375; печ. л. 4,75;  
усл.-печ. л. 6,65; уч.-изд. л. 6,049. Тираж 75 000 экз. Цена в переплете 38 коп., цена в обложке 19 коп. Темплан 1973 г. Изд. № 17. Зак. 1859.

Пермское книжное издательство. 614000, Пермь, ул. К. Маркса, 30.  
Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

**Уважаемые читатели!**

**Ваши отзывы об этой книге просим присылать по адресу: г. Пермь, ул. К. Маркса, 30, Пермское книжное издательство.**



**Астафьев В. П.**

**А 91** Пастух и пастушка. Пермь, Кн. изд., 1973.

152 с.

Повесть о войне и о любви.

**А**  $\frac{0732-20}{M152(03)-73}$  17-73

**P2**



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1973 г.